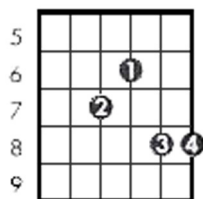


Курт Воннегут

Синяя борода



УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)-44
В73

Перевод с английского Ю. Мачкасова

Подписано в печать 18.01.2011. Формат 84x108 1/32.

Воннегут, К.

В73 Синяя Борода: роман / Курт Воннегут. —
Zamok Publishers, Wayland, MA USA 2011. — 282 с.

ISBN 978-0-9765679-7-4

«Синяя Борода» стоит немного в стороне от привычной прозы Курта Воннегута: в книге нет ни фантастических, ни даже футуристических элементов, и человечество на этот раз не погибает в глобальной катастрофе. Мы знакомимся с историей жизни пожилого американца армянского происхождения, случайно разделившего с автором как некоторые подробности опыта Второй Мировой войны, так и некоторые детали воззрений на современную живопись и искусство в целом.

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)-44

Copyright ©1987 Kurt Vonnegut
Copyright ©2010 Ю. Мачкасов — перевод, примечания
Copyright ©2011 Zamok Publishers

От автора

Перед вами — роман, да к тому же в виде фальшивой автобиографии. Не стоит воспринимать его как серьезное изложение истории школы абстрактного экспрессионизма¹, первого значительного направления в изобразительном искусстве, зародившегося в США. Единственное, о чем здесь говорится — это о моих личных реакциях на всякие разные вещи.

Рабо Карабекян никогда не существовал, как и Терри Китчен, Цирцея Берман, Пол Шлезингер, Дэн Грегори, Эдит Тафт, Мэрили Кемп — все главные персонажи этой книги. Что же касается людей настоящих и знаменитых — я не заставляю их делать ничего, в чем они не были и в самом деле замечены на этом нашем полигоне.

Прошу также учесть, что значительная часть того, что я поместил в эту книгу, вдохновлена абсурдностью цен на произведения искусства в последние сто лет. Сосредоточение невероятного абстрактного богатства в немногих руках позволило нескольким людям и организациям придать некоторым видам человеческих шалостей неподобающую, и потому неестественную, серьезность. Я имею в виду не только песочные куличики искусства, но и простые детские игры — бег, прыжки, бросание мяча.

Или танцы.

Или песни.

К. В.

¹ Работа аспиранта Воннегута на соискание ученой степени на кафедре антропологии Чикагского университета рассматривала параллели между художниками-кубистами и предводителями индейских восстаний в Америке в XIX веке. Она была отвергнута ученым советом как «непрофессиональная». Впоследствии тот же университет принял в качестве диссертации написанный Воннегутом роман — не этот, впрочем, а «Бойню №5».

«Мы здесь для того, чтобы помочь друг другу прийти до конца всего этого».

— *Доктор Марк Воннегут*
(Из письма к автору, 1985)

Посвящается Цирцее Берман.
Что тут еще скажешь?

Р. К.

Синяя Борода

Автобиография Рабо Карабекяна (1916-1988)

1

ИТАК, ПОСТАВИВ ТОЧКУ после слова «конец» в описании своей жизни, я счел разумным вернуться поспешно сюда, где все только начинается, к парадному входу, так сказать, и извиниться перед гостями. Вот что я скажу: "Я обещал вам автобиографию, но на кухне случилась накладка. Оказывается, с ней вместе положили еще и дневник этого тревожного лета! Но если что, мы всегда можем заказать на дом пиццу. Заходите, заходите, прошу вас!".

* * *

Меня зовут Рабо Карабекян, я — бывший американский художник, и у меня недостает одного глаза. Мои родители были иммигрантами. Я родился в городе Сан-Игнасио, в Калифорнии², в 1916 году. Работу над этой автобиографией я начинаю на семьдесят один год позже. Для тех, кто не в ладах с арифметикой: это значит, что сейчас на дворе 1987 год³.

² Такого города в Калифорнии не существует. Есть город Сан Игнасио, без разделяющего дефиса, но он находится в Техасе. Испанцы, открывавшие в конце XVIII – начале XIX века миссии в тех местах, где сейчас расположен юг Калифорнии (и из-за которых многие калифорнийские города имеют приставку Сан-), принадлежали к ордену францисканцев, у которого исторически со святым Игнатием (Лойолой, основателем ордена иезуитов) отношения не сложились.

³ В предисловии к сборнику своих ранних рассказов Воннегут формулирует 8 правил, которым должен следовать писатель; последнее из них гласит: «Читатель должен узнать как можно больше как можно раньше. К черту сюжетную напряженность. Читающий должен вполне понимать не только

Я не был циклопом от рождения. Левого глаза я лишился, командуя взводом военных инженеров — все они, удивительное дело, в гражданской жизни были так или иначе художниками — в Люксембурге, в конце Второй Мировой. Мы были специалистами по маскировке, но в тот момент просто воевали, защищая свою жизнь как простые пехотинцы. Взвод состоял из одних художников потому, что кто-то решил, будто именно им будет особенно хорошо удаваться маскировка.

И нам она удавалась! Еще как удавалась! Мы дарили немцам прелестные видения — что с нашей стороны от линии фронта было для них опасным, а что нет. И жить нам позволялось как художникам, до смешного безалаберно в вопросах формы и устава. Мы не состояли в банальном подчинении у командира какой-нибудь дивизии или, скажем, армии. Мы действовали по прямому приказу Верховного Главнокомандующего союзным экспедиционным корпусом в Европе, который придавал наш взвод то одному, то другому генералу, прослышавшему о наших паразитических иллюзиях. Генералы по очереди, на короткое время, становились нашими покровителями — снисходительными, затем восхищенными, и наконец благодарными.

А потом мы снова исчезали.

В кадровую армию я завербовался за два года до того, как Америка ввязалась в войну, к тому времени имел уже чин лейтенанта, и таким образом вполне мог бы дослужиться по меньшей мере до полковника. Однако став капитаном, от всех последующих повышений я отказывался, чтобы оставаться со своей веселой семейкой, состоящей из тридцати шести мужчин. Это для меня была первая возможность принадлежать к такой большой семье. Вторая выдалась уже после войны, когда я оказался другом и, казалось бы, ровней тех из американских художников, которые вошли теперь в историю как основатели школы абстрактного экспрессионизма.

что произошло, но и когда, где и почему». Мы, например, немедленно узнаем, сколько осталось жить главному герою (около года).

* * *

Мои отец и мать принадлежали в Старом Свете к семьям гораздо большего размера, чем мои две — и их родственники, разумеется, были кровными. Всех своих кровных родственников они потеряли во время резни, которую Турецкая империя устроила примерно миллиону своих армянских граждан. Эти граждане считались изменниками, по двум причинам: во-первых, они были интеллигентными и образованными, а во-вторых, имели родственников по другую сторону границы между турками и их врагами, Российской империей.

То время было временем империй. Как, впрочем, и это, что не очень-то и скрывается.

* * *

Германская империя, союзница Турецкой, выслала нейтральных военных наблюдателей, чтобы те собрали информацию о первом в истории геноциде. Этого слова тогда не существовало ни в одном словаре мира. Теперь на любом языке оно означает тщательно продуманную операцию по уничтожению всех представителей — мужчин, женщин и детей — одной искусственно выделенной человеческой семьи.

Трудности в процессе выполнения столь масштабной задачи встают чисто технического порядка: как наиболее быстрым и дешевым способом уничтожить большое количество крупных, изворотливых животных, не допустив, чтобы кто-то из них сбежал, а потом избавиться от завалов мяса и костей. Турки, как первопроходцы, еще не обладали ни склонностью к массовым мероприятиям, ни необходимым оборудованием. Это немцы, через четверть века, и то, и другое продемонстрируют в полной мере⁴. Турки же

⁴ На самом деле Воннегут в одном из интервью сказал, что самым быстрым из известных ему эпизодов уничтожения значительного количества людей была союзная бомбардировка Дрездена.

просто собрали всех армян, которых смогли найти, дома ли, на работе, на отдыхе, за игрой, в церкви, где угодно, вывели их в поля и держали там, без еды, без воды и без крыши над головой, и стреляли в них, и избивали их, и так далее, пока они все не перестали выглядеть живыми. А за работу по уборке принялись собаки, потом стервятники, грызуны, и так далее, последними были уже черви.

Моя мать, которая не была еще моей матерью, превратилась мертвой среди трупов.

Мой отец, который не был еще даже ее мужем, спрятался, когда пришли солдаты, в моче и кале — в выгребной яме за школой, где он работал учителем. Занятия уже закончились, и мой будущий отец остался в школе один. Как-то раз он упомянул в разговоре со мной, что писал там стихи. Когда он услышал шаги солдат, он понял, зачем они пришли. Отец не был свидетелем убийств. Для него самым ужасным воспоминанием о резне была тишина вымершей деревни, в которой к закату солнца он, весь в моче и кале, остался единственным жителем.

* * *

И хотя память, которую моя мать вынесла из Старого Света, гораздо ужасней той, которую вынес мой отец — ведь она была прямо там, где творилось убийство, — она как-то смогла пережить в себе резню, найти в Америке хорошие стороны, мечтать о будущем своей семьи в этой стране.

А вот отец отказался.

* * *

Я — вдовец. Та, кто была моей женой, урожденная Эдит⁵ Тафт — вторая, кому выпала эта честь, — умерла два года назад. От нее мне достался этот дом в девятнадцать

⁵ Эдит — имя матери и одной из дочерей Воннегута.

комнат на берегу океана в городе Ист-Хэмптон⁶, на Лонг-Айленде, который передавался в ее англосаксонской семье, родом из Цинциннати, в штате Огайо, последние три поколения. Ее предки определенно не ожидали, что он окажется в конце концов в руках обладателя такого странного имени – Рабо Карабекян.

Возможно, они всё еще живут здесь в виде призраков, но ведут себя при этом с такой безукоризненной англиканской вежливостью, что никому пока не попадались на глаза. Если я встречу одного из них, и он, или она, укажет мне на то, что у меня нет никаких прав на этот дом, то я отвечу ему, или ей, вот как: «Все претензии – к статуе Свободы⁷».

* * *

Мы с милой Эдит были счастливо женаты двадцать лет. Она была внучатой племянницей Уильяма Говарда Тафта, двадцать седьмого президента США и десятого главы Верховного Суда. Она также была вдовой спортсмена и банкира из Цинциннати по имени Ричард Фэрбенкс-младший, который в свою очередь произошел от Чарльза Уоррена Фэрбенкса, сенатора от штата Индиана, а впоследствии вице-президента при Теодоре Рузвельте.

⁶ Несколько деревень, поселков и хуторов, находящихся на крайнем юго-востоке острова Лонг-Айленд (западную часть которого занимают три из пяти районов Нью-Йорка), объединены в конгломерацию, называемую обычно the Hamptons, «Хэмптоны» – от названий наиболее крупных из них, Ист-Хэмптона и Саут-Хэмптона. Расположенные на естественном мысе, окруженные с трех сторон океаном и находящиеся в сравнительной близости от Нью-Йорка, Хэмптоны стали излюбленной загородной резиденцией для самых богатых жителей города.

⁷ На бронзовой пластине в основании статуи Свободы выбиты слова сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс», в частности призывающего страны мира отдать Америке «усталых, нищих, Безмолвный люд, что силится вздохнуть». Кроме того, в период с 1892 по 1924 год иммигранты, прибывавшие пароходами через Атлантику, проходили обязательную первоначальную инспекцию на острове Эллиса в Нью-йоркской гавани – в непосредственной близости от острова, на котором установлена статуя.

Мы познакомились задолго до того, как умер ее муж. Я убедил его, и ее тоже, хотя надо отметить, что недвижимость принадлежала ей, а не ему, сдать мне амбар для картошки в качестве мастерской. Они, разумеется, никогда не разводили картошку. Они просто выкупили землю у фермера, их соседа к северу, в обратную сторону от пляжа, чтобы на ней никто ничего не строил. Амбар прилагался к земле.

Мы не были близко знакомы, пока не умер ее муж, а моя первая жена, Дороти, не ушла от меня с нашими сыновьями, Терри и Анри. Я продал свой дом, находившийся в поселке Спрингс, в шести милях отсюда на север, и амбар Эдит стал для меня не только мастерской, но и жильем.

Это странное жилище, кстати, невозможно увидеть из особняка, в котором я сегодня пишу.

* * *

От первого брака детей у Эдит не было, и было уже поздно заводить их после того, как я одним разом превратил ее из вдовы господина Ричарда Фэрбенкса-младшего в супругу господина Рабо Карабекяна.

Так что наша семья выглядела совсем крошечной на фоне огромного особняка с двумя теннисными площадками, плавательным бассейном, конюшней и амбаром для картошки — и тремя сотнями ярдов частного пляжа на берегу Атлантики.

Можно подумать, что мои сыновья, Терри и Анри Карабекяны, которых я назвал так в честь моего самого близкого друга, покойного Терри Китчена, и художника, которому я и Терри больше всего завидовали, Анри Матисса, с удовольствием приезжали бы ко мне сюда со своими семьями. У Терри двое своих сыновей. У Анри — дочка.

Но они со мной не разговаривают.

«Ну и пусть! Ну и пусть!» — вопию я в этой ухоженной пустыне. «Наплевать!». Прошу прощения, вырвалось.

* * *

Милая Эдит, еще одно живое воплощение Извечной Матери, попевала всюду. Даже когда в доме оставались только мы двое и прислуга, она наполняла наш викторианский ковчег любовью, весельем и рукодельным уютом. Никогда в жизни она ни в чем не нуждалась, и все же готовила вместе с кухаркой, возилась в саду с садовником, сама закупала все продукты, кормила птиц и домашних животных, а с окрестными зайцами, белками и енотами водила личную дружбу.

Но и гостей у нас всегда было много, постоянные приемы, кто-нибудь то и дело жил в доме неделями — по большей части ее родственники и знакомые. Я уже упомянул, как обстояло, и обстоит, дело с моими немногими кровными родственниками — моими потомками, из которых никто со мной не общается. Что касается благоприобретенных родственников из моего взвода, то некоторые были убиты в той небольшой стычке, которая стоила мне немецкого плена и одного глаза. Тех же, кому удалось вернуться, я с тех пор ни разу не видел. Возможно, они были не так сильно привязаны ко мне, как я к ним.

Бывает.

Члены другой моей искусственной семьи, абстрактные экспрессионисты, по большей части умерли, кто от чего, начиная с незатейливой старости и кончая самоубийством. Те же немногие, кому удалось выжить, не разговаривают со мной, как и мои кровные родственники.

«Ну и пусть! Ну и пусть!» — вопию я в этой ухоженной пустыне. «Наплевать!». Прошу прощения, вырвалось.

* * *

Вскорости после смерти Эдит вся прислуга взяла расчет. Они сказали только, что им стало здесь слишком одиноко. Я нанял других, положив им гораздо больше денег, в качестве компенсации за себя и за все это одиночество. Пока была жива Эдит, был жив дом, и садовник, две служанки и кухарка жили с нами. Теперь осталась только кухарка, причем, как я уже упомянул, другая, и весь третий

этаж флигеля для прислуги находится в ее распоряжении — ее и пятнадцатилетней дочери. Ей на вид лет сорок, родилась в Ист-Хэмптоне, разведена. Дочь, Целеста, никаких услуг мне не оказывает, просто живет здесь, ест мои продукты и принимает шумных и нарочито невежественных дружков, которые пользуются моими площадками для тенниса, моим плавательным бассейном и моим частным пляжем.

Ни она, ни ее приятели не обращают на меня внимания, будто я какой-нибудь выживший из ума фронтовик с давно забытой войны, дотягивающий остатки жизни полусонным музейным сторожем. Обижаться тут не на что. Этот особняк, который служит мне домом, также содержит самую значительную коллекцию картин абстрактных экспрессионистов из всех, что еще находятся в частных руках. А поскольку ничего полезного я не делаю уже несколько десятков лет, то ни на что другое, чем быть при ней сторожем, и не гожусь.

И, как и полагается музейному сторожу на зарплате, я по мере сил отвечаю на один и тот же вопрос, который посетители задают мне — в различных вариациях, разумеется: «А о чем, собственно, все эти картины?».

* * *

Эти картины, которые совершенно ни о чем, кроме самих себя, принадлежали мне задолго до того, как я женился на Эдит. Стоят они уж точно не меньше, чем вся недвижимость, все акции и все облигации — включая четвертую долю в американской футбольной команде «Бенгальские Тигры» из Цинциннати, — оставшиеся мне от нее. Обвинить меня в том, что я женился по расчету, нельзя.

Художник из меня вышел поганый, но зато каким я оказался коллекционером!

2

ЗДЕСЬ И В САМОМ ДЕЛЕ ОДИНОКО с тех пор, как умерла Эдит. Наши гости были ее друзьями, а не моими. Художники меня чураются, потому что насмешки, заслуженно выпавшие на долю моих картин, послужили филистерам пищей для рассуждений о том, что *большинство* современных художников — дураки или жулики. Но одиночество меня не пугает.

Ребенком я был в одиночестве. В Нью-Йорке во время Великой Депрессии я был в одиночестве. А после того, как моя жена и двое моих сыновей бросили меня в 1956 году, и я поставил крест на своем рисовании, я прямо-таки отправился на поиски одиночества, и нашел его. Ничего себе карьера для раненого фронтовика, а?

* * *

Но есть друг и у меня — мой, мой *собственный*. Его зовут Пол Шлезингер, он — писатель, и тоже старый хрыч, получивший ранение во Второй Мировой. Он спит в одиночестве в своем доме, который стоит по соседству с моим бывшим домом в Спрингс.

Я уточняю «спит» — потому что бодрствовать он приходит ко мне, почти каждый день. Подозреваю, что и прямо сейчас он где-то неподалеку — наблюдает за теннисным матчем, или же сидит на пляже, уставившись в океан, или играет на кухне в карты с кухаркой, или прячется от всех и вся, уединившись с книжкой в том месте, куда никто не заглядывает, с дальней стороны картофельного амбара.

Мне кажется, он больше почти ничего не пишет. А я, как уже говорилось, больше *совсем* ничего не рисую. Даже не калякаю в записной книжке рядом с телефоном на первом этаже. Пару недель назад я обнаружил себя именно за этим занятием, и немедленно сломал грифель, переломил карандаш пополам и вышвырнул его разломанную тушку в корзинку для бумаг, как если бы он был выползком гремучей змеи и пытался впустить в меня *яг*.

* * *

Денег у Пола нет. Он ужинает у меня четыре, а то и пять раз в неделю, а в промежутках совершает набеги на холодильник и на вазы с фруктами, так что я, несомненно, являюсь основным источником его пропитания. Сколько раз я говорил ему после очередного ужина: «Пол, когда же ты продашь наконец дом, получишь с него кой-какие деньги себе на булавки, и переселишься сюда? Ты посмотри, сколько у меня тут *места*. Еще одной жены, да и вообще женщины, у меня больше не будет, и у тебя тоже. Боже мой, кому мы нужны? Погляди на нас — пара ископаемых ящеров! Переезжай! Я тебя не побеспокою, и ты меня не побеспокоишь. Выгода со всех сторон».

Его ответ всегда звучит одинаково, примерно так: «Писать я могу только дома». Тоже мне, дом — где протекающий холодильник и никого нет, кроме него самого.

Он сказал однажды про этот особняк: «Разве можно писать в музее?».

Что ж — вот я и узнаю, можно или нельзя. Я пишу в этом музее.

Да, вот так вот: я, старик Рабо Карабекян, покрыв себя позором в области изобразительных искусств, пытаюсь теперь заняться литературой. Впрочем, как истинный сын Великой Депрессии, чтобы подстраховаться, я придерживу пока за собой место музейного сторожа.

Что же могло подвигнуть меня в этом возрасте на такой головокружительный шаг? *Cherchez la femme!*

Властная, самоуверенная, пышная и сравнительно молодая женщина решила — без приглашения, насколько мне известно, — поселиться у меня!

Она говорит, что не может спокойно видеть и слышать, как я целыми днями ничего не делаю. Мне надо *заняться* чем-нибудь, чем *угодно*, но заняться! А если ничего не приходит в голову, то пусть я займусь автобиографией!

В самом деле, пусть.

С ней *не поспоришь!*

Так выходит, что я теперь все время делаю то, что она велит. За все двадцать лет нашей совместной жизни Эдит *ни разу* не решила за меня, что мне делать. В армии я встречал полковников и генералов, похожих на эту мою новую знакомицу, но они все были *мужчинами*, и к тому же страна находилась в состоянии войны.

Можно ли сказать, что эта женщина — мой друг? Да я понятия не имею, что про нее можно сказать. Я знаю только, что пока она тут свой порядок не наведет, она не успокоится, и что у меня от нее поджилки трясутся.

Спасите.

Ее зовут Цирцея Берман.

* * *

Она — вдова. Она была замужем за нейрохирургом и жила в Балтиморе, где у нее до сих пор имеется особняк, такой же большой и пустой, как и этот. Ее муж Эйб умер от инсульта шесть месяцев назад. Ей сорок три, и она решила, что этот дом прекрасно послужит ей и для отдыха, и для работы — написания биографии своего мужа.

В наших отношениях нет никакой чувственности. Я на двадцать восемь лет старше мадам Берман, и полюбить чудище, в которое я превратился, сможет разве что собака. Я действительно похож на ископаемого ящера, притом одноглазого. Так что с меня хватит.

Вот как мы познакомились. Она забрела на мой частный пляж, в одиночестве, не зная, что он частный. Обо мне она никогда не слышала, поскольку терпеть не может современное искусство. Во всей округе она не знает ни ду-

ши, остановилась в гостинице «Мэйдстон» милях в полуктора отсюда⁸. От этой гостиницы она и пришла пешком к городскому пляжу, а с него перешла через границу моих владений.

Я шел к океану окунуться, как всегда делаю ранним вечером, и застал ее, в полном облачении, за тем же занятием, которому так много времени посвящает Пол Шлезингер: она сидела на песке, глядя в океан. Собственно, ее присутствие — чье угодно присутствие — смущало меня только по причине смехотворности моего телосложения, а также того обстоятельства, что мне приходится снимать повязку с глаза, прежде чем войти в воду. Под ней у меня месиво, наподобие яичной болтуни. На близком расстоянии я себя неловко чувствую.

Кстати, Пол Шлезингер говорит, что обычное состояние человеческой души может быть полностью описано всего одним словом, и вот каким: *неловкость*.

* * *

Так что я решил не купаться, а вместо этого собрался позагорать, немного поодаль от нее.

Впрочем, я подошел достаточно близко, чтобы сказать ей: «Добрый день».

И вот как интересно она мне ответила: «Расскажи, как умерли твои родители».

Жуть, а не женщина! Может, она вообще *ведьма*. Надо быть ведьмой, чтобы убедить меня взяться за автобиографию.

Она только что заглянула ко мне в комнату и сообщила, что пора бы мне съездить в Нью-Йорк. Я там не был с тех пор, как умерла Эдит. Я, в общем, почти не выходил из дома с тех пор, как умерла Эдит.

Значит, отправимся в Нью-Йорк. Кошмар какой-то!

* * *

⁸ Эта гостиница, в самом центре Ист-Хэмптона, действительно существует; номера в ней стоят около тысячи долларов за ночь.

«Расскажи, как умерли твои родители», сказала мне она. Я подумал, что ослышался.

— Что, простите? — сказал я.

— А что толку в «добром дне»? — спросила она.

Я сперва даже не нашелся, что ответить.

— Мне всегда казалось, что это все же лучше, чем ничего, — сказал я наконец. — Впрочем, я могу ошибаться.

— И что же значит это твое «добрый день»?

— Я полагал, что оно значит «добрый день», — ответил я.

— Ничего подобного, — сказала она. — Оно значит: «Не вздумайте заговорить о важном». «У меня на лице улыбка, но я ничего не слышу, лучше уходите», вот что оно значит.

После чего она заявила, что ей надоело только делать вид, будто она знакомится с людьми.

— Так что садись рядом и расскажи мамочке, как умерли твои родители.

«Мамочке»! *Представляете себе*⁹?

Волосы у нее были прямые, темные, а глаза — карие и большие, как у моей матери, только она была гораздо выше, чем моя мать, и даже немного выше меня, если уж на то пошло. Еще она была гораздо стройнее матери — та позволила себе расплыться, и не обращала особенного внимания на то, как выглядят ее волосы и что на ней надето. Ей было все равно, потому что отцу было все равно.

И вот что я рассказал:

— Мать умерла, когда мне было двенадцать лет, от заражения столбняком, который она подхватила на консервной фабрике в Калифорнии. Фабрику открыли на том месте, где раньше были конюшни. Бациллы столбняка часто поселяются во внутренностях лошадей, безо всякого

⁹ Подобное обращение к самой себе Воннегут сделал также частью часового механизма матроны Хэйзел Кросби, патриотически настроенной жительницы штата Индиана из «Cat's Cradle». В интервью он (как и Карабекян в своей автобиографии) всегда называет родителей «отец» и «мать».

вреда для них, а потом, в навозе, превращаются в долговечные споры, маленькие бронированные семена болезни. Одно из них, притаившееся в земле около фабрики, каким-то образом выпросталось и отправилось в путешествие. И после очень-очень долгого сна это семечко пробудилось в раю — всем бы нам так. Рай для него находился внутри пореза на руке моей матери.

— Пока, мамочка, — вставила Цирцея Берман.

Опять это слово, «мамочка».

— По крайней мере ей не пришлось жить во время Великой Депрессии, которая наступила всего через год, — сказал я.

И по крайней мере ей не пришлось увидеть, как ее единственный ребенок вернулся с войны домой циклопом.

— А как умер отец? — спросила она.

— Он умер в 1938 году в кинотеатре «Бижу», в Сан-Игнасио, — ответил я. — Он ходил в кино один. Ему и в голову не пришло снова жениться.

Он так и жил над калифорнийской лавчонкой, которая помогла ему сделать первый шаг в экономике Соединенных Штатов. А я к тому времени уже пять лет как жил в Манхэттене — и работал тогда художником в рекламном агентстве. Когда фильм закончился, зажегся свет и все пошли домой. Все, кроме отца.

— А что за фильм? — спросила она.

— «Отважные мореплаватели», со Спенсером Трейси и Фредди Бартоломью¹⁰, — ответил я ей.

* * *

Одному Богу известно, что отец мог вынести для себя из этого фильма про рыбаков, промышленяющих треску на севере Атлантики. Возможно, он умер раньше, чем успел

¹⁰ Фильм компании «Метро-Голдвин-Мейер» по одноименному роману Киплинга, выпущенный на экраны в 1937 году — то есть, до Сан-Игнасио новинки кинематографа добирались не сразу. Кстати, целая глава романа посвящена подробному описанию путешествия по железной дороге с западного берега США на восточный — тем же маршрутом, которым проследует и Рабо (в пультмановском вагоне, а не в частном, как у Киплинга).

что-либо увидеть. Если же какую-то часть он все же посмотрел, то отметил, вероятно, с печальным удовлетворением, что показанное не имело совершенно никакого отношения ни к чему, что он когда-либо видел, и ни к кому, с кем он когда-либо был знаком. Он бережно собирал доказательства того, что планета, на которой он жил и которую любил в детстве, исчезла безвозвратно.

Он *таким* способом хранил память о друзьях и родственниках, жертвах резни.

* * *

В каком-то смысле можно сказать, что он был сам себе турком, втаптывал сам себя в грязь и плевал сам на себя же. Он вполне мог бы выучить английский и стать уважаемым учителем, прямо там, в Сан-Игнасио, мог бы снова начать писать стихи, или переводить любимых армянских поэтов. Но это было бы для него недостаточно *унизительно*. Единственное, что его устраивало — это стать, со всем своим образованием, тем, чем были его отец и дед, а именно сапожником.

Он хорошо знал это ремесло, к которому был приставлен еще мальчишкой, и к которому мальчишкой буду приставлен и я. Но вы бы слышали, как он *жаловался!* Впрочем, жалел он себя на армянском, так что понимали его только я и мать. Кроме нас, ни одного армянина нельзя было найти в радиусе ста миль от Сан-Игнасио.

— *А где тут Вильям Шекспир, ваш величайший поэт?*
— приговаривал он за работой. — *Может, слышали о таком?*

Шекспира, в армянском переводе, он знал наизусть, и часто цитировал. «То be or not to be», например, было для него «Линэл кам чэ линэл».

— *Если услышите, что я говорю по-армянски, вырвите мне язык,* — приговаривал он. Таким было наказание, установленное турками в семнадцатом веке за слова, сказанные на любом языке, кроме турецкого: вырванный язык.

— *Кто это такой? Как я здесь оказался?* — приговаривал он, когда мимо по улице проходил ковбой, или китаец, или мексиканец.

— *Скоро ли в Сан-Игнасио поставят памятник Месропу Маштоцу?* — приговаривал он. Месроп Маштоц придумал армянский алфавит, непохожий на все другие, за четыре сотни лет до рождения Христа. Кстати, армяне были первым народом, принявшим христианство в качестве официальной религии.

— *Миллион, миллион, миллион,* — приговаривал он. Этим числом оценивают обычно количество армян, убитых турками во время резни, от которой моим родителям удалось ускользнуть. Тогда это были две трети армян в Турции, и примерно половина всех армян вообще, во всем мире. Теперь нас шесть миллионов, включая и двух моих сыновей, и их трех детей, которые ничего не знают и знать не желают про Месропа Маштоца.

— *Муса-гар!* — приговаривал он. Так называлось одно место в Турции, где несколько армянских ополченцев удерживали турецкую гвардию сорок дней и сорок ночей, прежде чем погибнуть — примерно в то время, когда мои родители, и я с ними, в животе матери, прибыли в полной безопасности в Сан-Игнасио.

* * *

— *Спасибо Вартану Мамиконяну,* — приговаривал он. Так звали одного великого армянского героя, предводителя армии, разгромленной персами в пятом веке. Но тот Вартан Мамиконян, которого имел в виду отец, держал обувное дело в Каире, многоязыком деловом центре Египта, куда родители бежали от резни. Именно он, переживший более раннюю резню, убедил моих наивных родителей, повстречав их по дороге в Каир, что их ждут молочные реки в кисельных берегах, если только они направятся — кто бы мог подумать — в Калифорнию, в Сан-Игнасио. Впрочем, об этом — в другой раз.

— *Если кто-то найдет смысл жизни,* — приговаривал отец, — *пусть оставит при себе. Мне уже все равно.*

— *Никакого гурного не слышно там слова, и ни облачка в небе весь день*, — приговаривал он. Это, разумеется, припев из американской песни «Мой дом на просторе»¹¹. Отец перевел эти слова на армянский и считал их идиотскими.

— *Толстой тачал сапоги*, — приговаривал он. Это и в самом деле так: величайший русский писатель и гуманист, решив, что его работа должна приносить ощутимую пользу, какое-то время тачал сапоги. Позволю себе заметить, что и я смог бы тачать сапоги, если нужно.

* * *

Цирцея Берман говорит, что может шить штаны, если нужно. На пляже, во время нашей первой встречи, она рассказала мне, что ее отец владел брючной фабрикой в городе Лакаванна, в штате Нью-Йорк, но обанкротился и повесился.

* * *

Если бы моему отцу удалось пережить «Отважных мореплавателей» со Спенсером Трейси и Фредди Бартоломью, и если бы он дожил до того, чтобы увидеть картины, которые я писал после войны, и из которых небольшая часть привлекла значительное внимание критиков, а парочку мне удалось продать за немалые по тем временам деньги, то он вне всякого сомнения оказался бы среди подавляющего большинства американцев, которые потешались и издевались над ними. Он бы, конечно, высмеивал не только меня. Он высмеивал бы и моих дружков — абстрактных экспрессионистов, и Джексона Поллока, и Марка Ротко, и Терри Китчена, и всех прочих, всех художников, которые в наше время, в отличие от меня, причислены к величайшим из работавших не только в Соединенных

¹¹ Песня была написана в 1870 году и стала своего рода гимном первопоселенцев; до настоящего времени входит в патриотический репертуар (то есть, исполняется на концертах в честь государственных праздников). Также принята в качестве «официальной песни» штата Канзас.

Штатах, но и во всем этом нашем чертовом мире. Но вот какая мысль сидит теперь у меня в голове, как заноза, хотя я много лет гнал ее от себя: он не задумываясь принялся бы высмеивать своего родного сына, то есть меня.

Ну вот, теперь из-за разговора, который мадам Берман завела со мной на пляже две недели назад, я горю подростковым негодованием, предметом которого является мой отец, уже пятьдесят лет как похороненный! Остановите эту адскую машинку времени!

Но с этой адской машинки времени не слезешь. Приходится признать, хотя будь моя воля, это был бы последний раз, когда мне приходится вообще об этом думать, что мой собственный отец хохотал бы до упаду вместе со всеми, узнав, что мои картины, вследствие непредвиденных химических реакций между грунтовкой холстов, акриловой краской, которую я на них наносил, и полосками разноцветной пленки, которые я приклеивал сверху, все самоликвидировались.

То есть, люди, заплатившие пятнадцать, двадцать, а то и тридцать тысяч за мое полотно, вдруг обнаружили перед собой чистый холст, готовый к созданию новой картины, а на полу — колечки цветной пленки и какие-то катышки, напоминающие плесневелые рисовые хлопья.

* * *

Я пострадал от послевоенного чуда. Моим юным читателям, если таковые найдутся, необходимо пояснение. Дело в том, что Вторая Мировая война обладала многими предсказанными свойствами Армагеддона, последней битвы между силами Добра и Зла, а следовательно, за ней не могло не последовать время чудес. Одним из чудес был растворимый кофе. Другим — дуст ДДТ. Этот вообще должен был извести всех насекомых, и почти извел. Ядерная энергия завалит нас электричеством, которое можно будет не отмерять больше. С другой стороны, она же исключит возможность дальнейших войн. Куда там чуду о хлебах и рыбах! Антибиотики избавят нас от всех болез-

ней. Лазаря не нужно воскрешать — он никогда не умрет! При таком раскладе сын Божий выходит просто лишним.

Ах, да, еще чудесные питательные завтраки, и вот-вот будет по вертолету в каждом гараже. А чудесные ткани, которые отстирываются в холодной воде и не нуждаются в утюгах! За такое не жалко было и повоевать!

Во время войны было особое слово, которым мы обозначали крайнюю степень беспорядка, вызванного действиями людей. Звучало оно *fubar*, и было акронимом — «фигня уже безнадежна, абсолютно развалилась». Так вот, сейчас уже весь мир приведен послевоенными чудесами в состояние *fubar*, но тогда, в начале шестидесятых, я оказался самой первой жертвой одного из них, акриловой краски¹², такой стойкой, что ее цвета, если верить рекламе, «переживут улыбку Джоконды».

Краска называлась «Атласная Дюра-люкс». Джоконда продолжает улыбаться. Любой опытный владелец хозяйственного магазина рассмеется в лицо тому, кто спросит «Атласную Дюра-люкс».

* * *

— Твой отец страдал синдромом выжившего, — сказала мне в тот день на пляже Цирцея Берман. — Ему было стыдно, что он остался жив, а все его родственники и друзья погибли.

— Ему также было стыдно, что остался жив я, — заметил я.

— Благородное чувство, направленное в неверное русло.

— От отца мне доставались сплошные огорчения. Зря вы заставили меня о нем вспоминать.

¹² Одной из отличительных деталей раннего живописного стиля Джексона Поллока, кроме холстов, расстеленных во время создания картины на полу, было использование сравнительно новых алкидных лаков — то есть, хозяйственных, а не художественных красок. Поллок утверждал, что это — «естественное развитие потребностей художника».

— Но раз уж мы вытащили его сюда, может быть, ты его и простишь заодно?

— Я прощал его уже сотню раз. Так что теперь я буду умнее и потребую расписку.

Если уж на то пошло, продолжал я, у моей матери было гораздо больше прав на синдром выжившего, чем у отца, она ведь оказалась в самой середине бойни, притворяясь мертвой под грудой трупов, среди криков и крови. Лет ей тогда было немногим больше, чем Целесте, дочери кухарки.

И все время, пока моя мать лежала там, прямо перед ее глазами было мертвое лицо беззубой старухи. Рот у старухи был открыт, и внутри него, а также на земле под ним, находилось целое состояние — неоправленные драгоценные камни.

— И если бы не эти драгоценные камни, — объяснил я мадам Берман, — то я не был бы сейчас гражданином этой великой страны, и не имел бы возможности заявить вам, что вы нарушаете границы моей частной собственности. Вон там, с другой стороны от этих песчаных дюн, находится мой дом. Позволено ли будет старому безобидному вдовцу пригласить вас в оный, предложить вам что-нибудь выпить, если вы пьете, а потом позвать к ужину, где к нам присоединится еще один столь же безобидный персонаж, мой старинный друг?

Я имел в виду Пола Шлезингера.

Она приняла приглашение. А после ужина я, к своему удивлению, сказал ей: «Если вам удобнее переночевать здесь, чем возвращаться в гостиницу, то не стесняйтесь». И пообещал в точности то же, что уже столько раз обещал Шлезингеру: «Беспокоить я вас не буду».

Так что давайте по-честному. Я тут говорил, что понятия не имею, как оказалось, что она разделяет теперь со мной мое жилище. Так вот, по-честному. Я ее *сам позвал*.

3

А ОНА И МЕНЯ, и весь дом вверх дном перевернула!

Что она любит командовать, было ясно с самых первых ее слов, обращенных ко мне. «Расскажи, как умерли твои родители». В самом деле — это же явно слова женщины, привыкшей к тому, что все вокруг вертится, как она пожелает, будто они всего лишь винтики под ее большой отверткой.

И если это предупреждение, выданное мне на пляже, я пропустил мимо ушей, то за ужином стало только хуже. Можно было подумать, что она пришла в дорогой ресторан и платит из своего кармана — скривилась на вино, которое я, пригубив, объявил вполне приличным, заявила, что телятина пережарена, потребовала, чтобы Шлезингер присоединился к ней и тоже отправил свою порцию обратно на кухню, а потом сообщила, что во время своего пребывания в доме лично займется составлением меню. Цвет наших лиц она сочла нездоровым, движения — безвольными, и причиной этому определенно являлись наши артерии, забитые холестерином.

* * *

Она вела себя возмутительно! Ее место за столом находилось напротив картины Джексона Поллока, за которую коллекционер из Швейцарии, пожелавший остаться неизвестным, только что предложил мне два миллиона. «Только место на стенке занимает!» — сказала она.

Я, подмигнув Шлезингеру, едко осведомился, какая картина доставила бы ей большее удовольствие.

Она ответила, что она здесь, на Земле, не для удовольствия, а для образования.

— Мне нужна информация так же, как нужны витамины и минералы, — сказала она. — А тебя, судя по этим картинам, от фактов тошнит.

— Вам, вероятно, было бы приятнее смотреть на Вашингтона, пересекающего Делавэр¹³?

— И не только мне. Но вот на кое-что мне действительно хотелось бы посмотреть, после нашего разговора на пляже.

— А именно? — спросил я, подняв брови, а потом снова подмигнул в сторону Шлезингера.

— Внизу этой картины должна быть земля и трава, — начала она.

— Коричневая и зеленая краска, — уточнил я.

— Пусть так. И небо сверху.

— Голубая.

— Может быть, с облаками.

— Не вопрос, добавим.

— А между небом и землей...

— Жаворонок? — спросил я. — Шарманщик и обезьянка? Моряк и его подруга на скамейке в парке?

— Нет, не жаворонок, не шарманщик и не моряк с подругой, — сказала она. — Много трупов, которые валяются в беспорядке на траве. И очень близко к зрителю — лицо девушки, очень красивой, лет шестнадцать или семнадцать. На нее навалился труп мужчины, но сама она еще жива, и она смотрит, не отрываясь, в открытый рот мертвой старухи, лицо которой к ней почти вплотную. А из

¹³ «Вашингтон, пересекающий Делавэр» — картина Иммануила Лейтца, написанная в 1851 году. На ней изображен решительный момент в истории американской революции: ранним Рождественским утром 25 декабря 1776 года силы повстанцев под командованием генерала Вашингтона, собравшись на восточном берегу реки Делавэр, форсировали ее, частично скованную льдом, и нанесли удар по расположению англичан у города Трентон. Копии картины часто встречаются в общественных местах в США, и образ Вашингтона в героической позе на носу лодки широко известен среди американцев.

этого беззубого рта сыплются бриллианты, рубины и изумруды.

Воцарилось молчание.

— Такую картину можно положить в основу целой новой религии, которая нам очень сейчас пригодилась бы¹⁴, — сказала она. А потом, кивнув в сторону Поллока, добавила:

— А это можно использовать только в рекламе средства от похмелья. Или таблеток от морской болезни.

* * *

Шлезингер спросил, что же привело ее в наши края, учитывая, что она здесь никого не знает. Она ответила, что искала тихое, спокойное место, где она могла бы, не отвлекаясь по мелочам, заняться написанием биографии своего мужа, нейрохирурга из Балтимора.

Шлезингер, автор одиннадцати книг, приосанился и принялся снисходительно поучать случившегося перед ним любителя.

— Все думают, что писателем быть просто, — сказал он с легкой иронией.

— Но попробовать-то — не преступление, — сказала она.

— Преступление думать, что это просто. Стоит начать писать всерьез, как весьма скоро становится ясно, что это тяжелейший труд.

— Только если вам нечего сказать. Я не вижу никакой другой причины, по которой писать может быть сложно. Если человек способен говорить завершенными предложениями и умеет пользоваться словарем, то *единственная*

¹⁴ В книгах Воннегута содержатся целых три новых религии — Церковь Спасителя Похищенного («Slapstick»), Церковь Господа Безмерно Безразличного («Сирены Титана») и, разумеется, бокононизм. Утилитарное отношение мадам Берман к религии перекликается с собственным авторским (Воннегут описывал себя попеременно как атеист, агностик и «гуманист»).

причина делать писательство тяжелым трудом — это отсутствие интереса к происходящему вокруг.

Тут Шлезингер стянул выражение у писателя Трумэна Капоте, который умер пять лет назад, а жил в пяти милях к западу отсюда.

— Вы путаете работу писателя и машинистки.

Она немедленно вскрыла источник его остроумия:

— Трумэн Капоте.

Шлезингер ловко вывернулся:

— Широко известный.

— Если бы не доброе выражение лица, — сказала она, — я решила бы, что вы надо мной издеваетесь.

Но вот что я вам скажу. Она мне это рассказала только сегодня во время завтрака. Я вам скажу, а вы скажите мне, кто и над кем посмеивался за тем ужином, состоявшемся две недели назад. Мадам Берман — вовсе не любитель, и не собирается писать биографию покойного мужа. Это она придумала, чтобы скрыть ото всех, кто она на самом деле такая и зачем приехала сюда. Она взяла с меня обещание никому не говорить, а потом призналась, что выбрала это место для того, чтобы собрать материал для книги о подростках из бедных семей, проживающих в поселке, куда летом наезжают на отдых сыновья и дочери миллионеров¹⁵.

И это отнюдь не первая ее книга. Это — двадцать первая книга, продолжающая серию скандально откровенных и безумно популярных романов для молодежи. По некоторым из них сняты фильмы. Она их пишет под псевдонимом «Поли Мэдисон».

* * *

И я свое обещание *точно* собираюсь сдержать, хотя бы для того, чтобы пощадить жизнь Шлезингера. Если он теперь, после того, как выставлял себя перед ней профес-

¹⁵ Воннегут значительное время прожил в городе Барнстебл, в штате Массачусетс — на Тресковом мысе, который так же относится к Бостону, как Хэмптоны — к Нью-Йорку; таким образом, с проблемами местных жителей, обслуживающих обширные дачи богачей, он был хорошо знаком.

сиональным писателем, узнает, кто она такая, он наверняка сделает то же самое, что сделал другой из тех двух человек, которых я могу назвать своими друзьями, Терри Китчен. Он покончит самоубийством.

Если считать по влиянию на книжном рынке, то Пол Шлезингер против Цирцеи Берман — все равно, что велосипедная фабрика в Албании против «Дженерал Моторс»!

Так что молчок!

* * *

Еще в тот первый вечер она сказала, что тоже собирает картины.

Я спросил ее, какие именно, и она ответила: «Викторианские хромофотографии с девочками на качелях». Оказывается, у нее их больше сотни, все разные, но все с девочками на качелях.

— На тебя они должны наводить ужас, — сказала она.

— Нисколько, — сказал я, — до тех пор, пока они надежно заперты в Балтиморе.

* * *

Да, и еще из того первого вечера я помню, что она спросила меня, Шлезингера, а потом и кухарку с дочерью, не слышали ли мы о каких-нибудь местных девушках из сравнительно бедных семей, которые вышли замуж за сыновей миллионеров.

Шлезингер ответил: «Такого сейчас даже и в кино не увидишь».

Целеста сказала ей: «Богатые женятся только на богатых. Вы что, с луны свалились?»

* * *

Но вернемся к прошлому, так как оно должно быть главным содержанием этой книги. Мать собрала все драгоценные камни, которые выпали изо рта мертвой старухи, но не тронула те, которые все еще были внутри него. Вся-

кий раз, когда рассказывалась эта история, эту деталь она считала необходимым подчеркнуть: изо рта она ничего не вытащила. То, что в нем оставалось, все еще находилось в полной собственности умершей женщины.

Настала ночь, все убийцы разошлись по домам, и моя мать сумела уползти оттуда. Она была из другой деревни, чем отец, и встретила с ним только после того, как оба они пересекли плохо охраняемую границу с Персией, милях в семидесяти от места бойни.

Они нашли временный приют у персидских армян. Потом они решили вместе пробираться в Египет. Договаривался обо всем отец, потому что у матери был полон рот драгоценных камней. Когда они вышли к Персидскому заливу, моя мать отдала первый камень, целое состояние в компактной форме, за проезд на небольшом грузовом судне до Каира, через Красное море. А уже в Каире они встретили жулика Вартана Мамиконяна, который сумел пережить более раннюю резню.

— Никогда не доверяй выжившим, — часто наставлял меня отец, имея в виду Мамиконяна, — пока не узнаешь, как им удалось выжить.

* * *

Этот Мамиконян разбогател на выделке солдатских башмаков, по заказу английской армии и немецкой армии, которые вскорости начали биться друг с другом в Первой Мировой. Он предложил моим родителям за гроши самую грязную работу. У них не хватило ума скрыть от него — ведь он тоже был армянином, пережившим резню, — что у матери есть драгоценные камни, что они собираются пожениться, и что они хотят поселиться в Париже, присоединиться к большой и высококультурной армянской общине в этом городе.

Мамиконян немедленно стал их самым усердным советником и защитником. Прежде всего он пообещал отыскать надежное место, где драгоценности были бы в безопасности от бессердечных воров, которыми славился этот город. Но родители уже положили их в сейф в банке.

Тогда Мамиконян выстроил иллюзию, которую и предложил им в обмен на камни. Город Сан-Игнасио в штате Калифорния он скорее всего нашел на карте, поскольку ни одного армянина в нем никогда не было, и весть об этом сонном крестьянском поселке никаким образом не могла достигнуть Ближнего Востока. Мамиконян заявил, что в Сан-Игнасио у него живет брат. Он подделал письма от этого брата и предъявил их в качестве доказательства. В письмах говорилось, что брат за короткое время сумел неслыханно разбогатеть. Армян там вообще было немало, и все они хорошо устроились. Их дети теперь нуждались в учителе, свободно владеющем армянским и знакомом с величайшими произведениями литературы, написанными на этом языке.

Чтобы привлечь такого человека, они были готовы продать ему дом на двадцати акрах фруктового сада по цене, составляющей лишь малую долю от его истинной стоимости. «Богатый брат» Мамиконяна приложил даже и фотографию этого дома, и все документы на него.

Как только Мамиконяну удастся встретить в Каире хорошего учителя, который заинтересуется этим предложением, Мамиконян был уполномочен продать ему право собственности. Сделка, таким образом, закрепляла за отцом учительское место и заодно делала его одним из крупнейших владельцев недвижимостью в благолепном Сан-Игнасио.

Я ТАК ДАВНО ИМЕЮ ДЕЛО С ИСКУССТВОМ, с картинами, что прошлое представляется мне в виде анфилады залов в каком-нибудь музее — Лувре, к примеру, где хранится теперь «Джоконда», улыбка которой уже на три десятка лет пережила послевоенное чудо под названием «Атласная Дюра-люкс». Картины в последнем, насколько я могу судить, зале на выставке моей жизни вполне вещественны. Я могу их потрогать, или, следуя рекомендациям вдовицы Берман, она же Полли Мэдисон, загнать тому, кто больше даст, или каким-нибудь иным способом, как она мягко выразилась, «убрать отсюда к чертовой матери».

В воображаемых же галереях, предшествующих ему, находятся мои собственные абстрактно-экспрессионистские полотна, чудесным образом воскрешенные во плоти Всевышним Критиком к Судному Дню, дальше — картины европейских художников, которые я выменивал за пару долларов, плиток шоколада или капроновых чулок во время войны, а за ними — рекламные плакаты, которые я вычерчивал и раскрашивал до того, как завербоваться в армию, примерно в то время, когда я узнал о смерти отца в кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио.

Еще дальше висят журнальные иллюстрации Дэна Грегори, у которого я служил подмастерьем, пока он не меня выгнал. Мне было без месяца двадцать лет, когда он меня выгнал. За ретроспективой Дэна Грегори выставлены мои детские работы, без рам. Я был единственным художником за всю историю Сан-Игнасио, вне зависимости от таланта и возраста.

А в зале, наиболее удаленном от меня, слабоумного старика, сразу за дверью, через которую я вошел в 1916 году в этот мир, висит не картина, а фотография. На ней запечатлен величественный дом белого камня, с портиком и длинной подъездной дорожкой, якобы в Сан-Игнасио — тот самый, который, по словам Вартана Мамиконяна, мои родители выкупили ценой драгоценных камней, принадлежавших моей матери.

Эта фотография, вместе с подложной купчей, испещренной подписями и заляпанной воском печатей, долго лежала в тумбочке у постели моих родителей, в квартирке над сапожной мастерской отца. Я-то думал, что он их выбросил, когда умерла мать, вместе со всеми остальными мелочами, напоминавшими ему о прежней жизни. Но когда я в 1933 году собрался уезжать из Сан-Игнасио на поезде в Нью-Йорк, чтобы искать там счастья в разгар Великой Депрессии, отец преподнес мне фотографию на прощание в качестве подарка.

— Если когда-нибудь наткнешься на этот дом, — сказал он мне по-армянски, — сообщи мне, где он. Где бы он ни был, он мой.

* * *

Этой фотографии у меня больше нет. После того, как я вернулся в Нью-Йорк из Сан-Игнасио, где я не был пять лет, с похорон отца, на которых, кроме меня, было всего три человека, я разорвал ее в мелкие клочья. Я порвал ее потому, что злился на умершего. Я пришел к выводу, что он обокрал себя и мою мать гораздо хуже, чем их обокрал Вартан Мамиконян. Вовсе не Мамиконян заставил моих родителей осесть в Сан-Игнасио, вместо того, чтобы переехать, например, во Фресно, где в самом деле существовала армянская община, члены которой поддерживали друг друга и, с одной стороны, тщательно сохраняли язык, обычаи и религию, а с другой — строили для себя все более и более счастливую жизнь в Калифорнии. Отец снова мог бы стать учителем, любимым детьми!

Нет, нет, это не Мамиконян своим обманом заставил его стать самым несчастным и одиноким сапожником на свете.

* * *

Армяне великолепно приспособились к жизни в этой стране за то короткое время, что они здесь находятся. Мой сосед с востока — Дональд Касапян, заместитель президента страховой компании «Метрополитен». Таким образом, прямо здесь, в роскошном Ист-Хэмптоне, и к тому же непосредственно на берегу, рядышком обитают сразу *два* армянина. Бывшая усадьба Джона Пирпонта Моргана в Саут-Хэмптоне принадлежит теперь Кеворку Ованесяну, который владел киностудией «XX век — Фокс», пока не продал ее на прошлой неделе.

Армяне отличились не только в области бизнеса. Великий писатель Уильям Сароян был армянином. Профессор Джордж Минтучян, избранный недавно ректором Чикагского университета, тоже армянин. Профессор Минтучян — признанный специалист по Шекспиру. Мой отец мог бы стать таким специалистом.

Цирцея Берман только что зашла ко мне и прочла то, что было на листе, заправленном в пишущую машинку — то есть, десять строк над этой строкой. Сейчас она уже ушла.

Она повторила, что мой отец *несомненно* страдал синдромом выжившего.

— Всякий, кто еще жив — выживший, а тот, кто умер — наоборот, — сказал я на это. — Так что у всех живущих должен присутствовать синдром выжившего. Или это, или ты мертв. Мне осточертели заявки от каждого встречного, что он, видите ли, выжил! В девяти случаях из десяти перед тобой или миллионер, или людоед!

— Ты так и не простил отца за то, что он был тем, кем не мог не быть, — сказала она. — Поэтому ты кричишь.

— Я не кричу.

— Тебя слышно в Португалии.

Португалия — это то место, где окажется корабль, если отойдет от моего пляжа и будет держать все время на восток. Это она выяснила по большому глобусу у меня в библиотеке. Корабль пристанет в португальском городе Порту.

— Я преклоняюсь перед тем, что пришлось пережить твоему отцу, — сказала она.

— Мне тоже пришлось кое-что пережить! Если вы не заметили, у меня нет одного глаза.

— Ты сам сказал, что боли почти не было, и что рана очень быстро зажила, — заметила она, и была права.

Я не помню самого момента ранения, только выкрашенный в белое немецкий танк и немецких солдат в белой форме, на другой стороне заснеженного поля в Люксембурге. В плен я попал без сознания, потом меня держали на морфии, и очнулся я уже в немецком военном госпитале, размещившемся в церкви по ту сторону границы с Германией. Чистая правда: боли во время войны мне досталось немногим больше, чем человек штатский испытывает в кресле дантиста¹⁶.

Рана зажила настолько быстро, что вскорости меня отправили в лагерь. Я стал самым обычным военнопленным.

* * *

И все же я продолжал настаивать, что тоже имею право на синдром выжившего. Тогда она задала мне два вопроса. Первый был вот какой:

— Кажется ли иногда тебе, что ты — единственный праведный человек, в то время как во всем остальном мире все праведные умерли?

— Нет, — сказал я.

— А кажется ли тебе иногда, что ты, наоборот, страшный грешник, потому что все праведные умерли, и что единственный способ оправдаться — это умереть самому?

— Нет, — сказал я.

¹⁶ Воннегут был награжден орденом Пурпурного Сердца за, как он неоднократно подчеркивал, «пустяковое» ранение.

— Может, ты и имеешь право на синдром выжившего, но ты им не заразился, — заключила она. — Выбери что-нибудь другое. Как насчет туберкулеза?

* * *

— А откуда вам все так хорошо известно о синдроме выжившего? — спросил я ее.

Этот вопрос вовсе не был невежливым с моей стороны. Она сама сказала мне во время нашей первой встречи на пляже, что ни у нее самой, ни у ее мужа, хотя они и были оба евреями, не осталось ни одного близкого родственника, который мог бы находиться в Европе во время Холокоста и пострадать от него. Их семьи жили в Америке уже несколько поколений и полностью потеряли связь с европейскими родственниками¹⁷.

— Я написала о нем книгу, — сказала она. — Вернее, я написала книгу о людях вроде тебя: о детях тех, кто пережил какую-нибудь бойню. Я назвала ее «Подполье».

Вряд ли стоит упоминать, что ни эту, ни все остальные книги авторства Полли Мэдисон я не читал, хотя теперь, когда я стал обращать на это внимание, у меня создалось впечатление, что достать их не труднее, чем купить пачку жевательной резинки.

* * *

Как сообщает мадам Берман, мне даже из дома не обязательно выходить, чтобы заполучить экземпляр «Подполья», или любой другой книги Полли Мэдисон. У Целесты, дочери кухарки, имеется полный комплект.

Мадам Берман, в рамках своей беспощаднейшей борьбы с правом на частную жизнь, обнаружила также,

¹⁷ Отношение Воннегута к своей «немецкости» было двойственным; эта тема поднимается в раннем романе «Mother Night» и подробнее – в «Deadeye Dick». Его родители, иммигранты в третьем поколении, в совершенстве знали язык и часто бывали в Европе – но только до Первой Мировой. Сам он часто подчеркивал, что не имеет никаких связей с немецкими родственниками и ничего о них не знает.

что Целеста, в свои всего лишь *пятнадцать* лет, уже принимает противозачаточные таблетки.

* * *

Грозная вдовица Берман пересказала мне сюжет «Подполья». Вот он: три девушки, негритянка, еврейка и японка, чувствуют, что какая-то неясная сила сближает их между собой и одновременно отдаляет от остальных одноклассников. Свое маленькое сообщество они называют, опять же по неясным им самим причинам, «Подполье».

А потом выясняется, что у всех трех родители пережили какой-нибудь ужас, устроенный людьми другим людям, и невольно передали своим детям убеждение, что только грешники остались в живых, а все праведные мертвы.

Родители чернокожей девушки пережили резню народа игбо в Нигерии. Японка произошла от переживших ядерную бомбардировку Нагасаки. Еврейка произошла от переживших Холокост.

* * *

— Для такой книги «Подполье» — чудесное название, — сказал я.

— Еще бы! — сказала она. — Я вообще горжусь своими названиями.

Она и в самом деле считает, что она — пуп земли, а все окружающие — ду-ра-ки!

* * *

Она говорит, что художникам не помешало бы нанимать писателей, чтобы те придумывали за них названия к картинам. Картины на моих стенах называются «Опус 9», «Синий и сиена жженая», и так далее. Самое знаменитое из моих собственных полотен, более не существующее, размером шестьдесят четыре фута в длину и восемь футов в высоту, украшавшее в свое время главный вестибюль

здания компании GEFFCo на Парк-авеню, носило название «Виндзорская голубая №17». «Виндзорская голубая» — это цвет краски «Атласная Дюра-люкс», прямо из банки.

— Названия *нарочно* выбраны так, чтобы ничего не сообщать, — сказал я.

— Зачем тогда вообще жить, — сказала она, — если не хочется ничего сообщить?

Она до сих пор ни во что не ставит мою коллекцию, хотя за пять недель своего здесь проживания наблюдала, как невероятно уважаемые люди со всего мира, в том числе из Швейцарии и Японии, поклонялись этим картинам, словно божествам. Присутствовала она и при том, как я снял со стены полотно Ротко и получил за него от представителя музея Гетти чек на полтора миллиона.

И вот что она сказала на это:

— Наконец-то избавились. Эта гадость разъедала твои мозги, потому что она совершенно ни о чем. Теперь осталось только вышвырнуть все остальные!

* * *

Только что, во время нашего разговора о синдроме выжившего, она спросила меня, хотелось ли моему отцу, чтобы турки понесли наказание за то, что они сделали с армянами.

— Я задал ему этот вопрос, когда мне было лет восемь. Мне казалось, что жизнь станет привлекательней, если добавить к ней немножко мести, — сказал я. — Отец отложил инструмент и принялся смотреть в окно своей крохотной мастерской. Я тоже посмотрел в окно. На улице, как я сейчас помню, стояли два индейца племени лума¹⁸. Резервация лума была в пяти милях от города, и люди, проезжавшие через Сан-Игнасио, часто принимали меня

¹⁸ Такого племени, так же, как и округа Лума, не существует, хотя корень «лума» («обратная сторона») встречается в сложных словах на языке мивокков, действительно живущих в Калифорнии, например, в названии города Петалума («за холмом»). На самом же деле лума — мелкая армянская монета, одна сотая драмы.

за индейца. Мне это очень нравилось. Тогда мне казалось, что даже это — лучше, чем быть армянином. Помолчав, отец ответил мне вот как: «Все, что мне нужно от турок — это чтобы они признали, что их страна стала еще более плодородной и унылой после того, как в ней не стало нас».

* * *

Я обошел дозором свои владения сегодня после ужина, и встретился с соседом к северу. Граница между нами проходит футах в двадцати от моего картофельного амбара. Его зовут Джон Карпински. Он из местных. Он продолжает выращивать на своей земле картошку, как это делал его отец, хотя каждый акр его полей стоит теперь тысяч восемьдесят — дело в том, что если на его участке понастроить домов, то с их верхних этажей будет открываться вид на океан. На этом участке выросли три поколения Карпинских, так что, если привести армянскую аналогию, для них он — клочок священной земли предков у подножия Арарата.

Карпински — здоровенный мужик, вечно в рабочем комбинезоне, и все зовут его «Большой Джон». Большой Джон получил в войну ранение, так же, как и мы с Полом Шлезингером, но он младше нас, и его война — не та, что наша. Ему досталась Корейская война.

А его единственный сын, Маленький Джон, подорвался на противопехотной mine во Вьетнаме.

По одной войне в каждые руки.

* * *

Мой амбар, и шесть акров, которые к нему прилагались, принадлежали когда-то отцу Большого Джона, который и продал их милой Эдит и ее первому мужу.

Большой Джон заинтересовался Цирцеей Берман. Я заверил его, что отношения у нас исключительно платонические, что она более или менее сама напросилась, и что я буду рад, когда она вернется к себе в Балтимор.

— С ней, похоже, как с медведем, — сказал он. — Если к тебе в дом залезет медведь, лучше всего снять комнату в ближайшем мотеле и ждать, пока он сам решит уйти.

Раньше на Лонг-Айленде было полно медведей, но теперь их здесь совсем не осталось. Он сказал, что сведения о медведях у него от отца, которого, в возрасте шестидесяти лет, гризли загнал на дерево в Йеллоустонском парке. После этого случая отец Джона прочел все книги о медведях, которые только смог достать.

— Что бы там ни было, — сказал Джон, — спасибо тому медведю — старик снова взялся за чтение.

* * *

Мадам Берман везде сует свой длинный нос! Например, заявляется сюда и читает то, что я печатаю, и ей совершенно не кажется, что хорошо бы сперва спросить разрешения.

— Почему это ты не пользуешься точкой с запятой¹⁹? — говорит она. Или:

— Почему это ты разбиваешь повествование на маленькие отрывки, вместо того, чтобы позволить ему течь свободно²⁰?

¹⁹ Во всей книге точка с запятой встречается всего в двух местах, причем разделенных всего парой страниц — в конце 26-й и в начале 27-й главы. Воннегут вообще не любит этот знак препинания (ни в одном из романов он не встречается больше, чем несколько раз — но и ни в одном не отсутствует полностью), хотя и расставляет аккуратно в цитатах; видимо, к написанию «Синей Бороды» кто-то (или он сам) обратил на этот факт его внимание. Несмотря на то, что на русском некоторые из сложных предложений выглядели бы более естественно при наличии точки с запятой, пришлось сохранить ее редкость — в качестве еще одного выразительного средства.

²⁰ Этот прием является частью устоявшегося писательского стиля Воннегута. В своих интервью он неоднократно отмечал, что пишет таким образом потому, что строит повествование в виде серии анекдотов, небольших историй, каждая из которых имеет завязку, развитие и разрешение: «...и тут до меня доходит, что получился анекдот, и что если я буду пытаться продолжать, то шутка погибнет. Тогда я отмечаю последнюю строчку, в которой и содержится соль шутки, делаю отбивку из звездочек, показывая

И всякое *такое*.

Когда я слушаю, как она движется по дому, я слышу не только шаги. Я слышу еще шорох открываемых и задвигаемых ящиков. Она обследовала каждый закоулок, включая подвал.

Как-то раз она пришла из подвала и спросила:

— А ты знаешь, что у тебя в подвале хранится в общей сложности шестьдесят три галлона «Атласной Дюра-люкс»?

Она их все *сочла!*

Выбрасывать «Атласную Дюра-люкс» на помойку запрещено законом, потому что выяснилось, что она со временем разлагается, превращаясь при этом в смертельный яд. Чтобы избавиться от нее по всем правилам, необходимо выслать банки в адрес особого могильника для опасных отходов, близ города Питчфорк в штате Вайоминг, а у меня никогда руки не доходили. Так они и валяются в подвале все эти годы.

* * *

Есть на моем участке только одно место, куда она не смогла залезть — моя мастерская, в амбаре для картошки. Это длинное и узкое строение без окон, а в обоих концах у него по раздвижной двери и печке-буржуйке. Предназначено оно для хранения картошки, и ни для чего больше. Смысл тут вот в чем: с помощью дверей и печей можно поддерживать постоянную температуру вне зависимости от погоды, и тогда картошка не померзнет и не прорастет до тех пор, пока не придет пора везти ее на продажу.

Именно из-за строений с такими необычными габаритами, а также по причине невысоких цен на недвижимость, художники переезжали в эти края из города во времена моей молодости — в особенности те из них, которые имели дело с исключительно большими полотнами.

таким образом, что на этом месте что-то кончилось, начинаю заново, и у меня как правило выстраивается следующий анекдот» (интервью с Лори Клэнси, 1971).

Я никак не смог бы работать над всеми восемью секциями, составлявшими «Виндзорскую голубую №17», если бы не снял этот амбар под мастерскую.

* * *

Любопытная вдовица Берман, она же Полли Мэдисон, никак не сможет проникнуть в мою мастерскую, не сможет даже заглянуть туда, потому что, во-первых, там нет окон, а во-вторых, два года назад, сразу после смерти моей жены, я собственными руками намертво забил одни двери изнутри восьмидюймовыми гвоздями, а противоположные запер снаружи на шесть тяжелых засовов с висячими замками, сверху донизу.

Сам я с тех пор в ней тоже не бывал. Да, там внутри что-то хранится. Я не просто подогреваю интерес. Когда я умру, и меня похоронят рядом с милой Эдит, и душеприказчики распахнут наконец двери амбара, они найдут там не пустоту. И не жалостный символ, вроде переломленной надвое кисточки или моей награды за боевое ранение посреди чисто выметенного пространства.

Также там нет и глупой шутки — скажем, картины, изображающей картошку, как если бы я возвращал амбар в собственность картошки, или портрета Пречистой Девы в котелке и с арбузом в руках, или чего-нибудь подобного.

Автопортрета там тоже нет.

И ничего, имеющего религиозный смысл.

Ну как, завлекательно? Даю подсказку: то, что внутри, больше, чем хлебница, и меньше, чем планета Юпитер.

* * *

Даже Полу Шлезингеру не удалось подобраться к отгадке тайны моего амбара, хотя он и говорил мне неоднократно, что не понимает, как может продолжаться наша дружба, если я не считаю, что могу ему довериться в таком деле. Амбар также приобрел определенную известность в околхудожественных кругах. Когда мои посетители заканчивают экскурсию по особняку, они всегда просят

провести их по амбару. Я отвечаю, что могу обвести их *вокруг* амбара, если уж им так хочется. Кстати, одна из его стен — памятное место в истории живописи. В самый первый раз, когда Терри Китчен взял в руки краскопульт, направил он его на кусок строительного картона, прислоненный к моему амбару.

— Что же касается *содержимого* амбара, — говорю я им, — то там всего лишь бесполезный секрет выжившего из ума старика, и мир узнает его, как только я отправлюсь на великий художественный аукцион в небесах.

5

В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ БЫЛО НАПИСАНО, что они точно знают, что там находится: величайшие из картин абстрактных экспрессионистов, которые я придерживаю от выхода на рынок, чтобы набить цену на посредственные полотна в своем доме.

Это не так.

* * *

После опубликования этой статьи мой соотечественник из Саут-Хэмптона, Кеворк Ованесян, предложил мне три миллиона за содержимое амбара, не глядя.

— Я не могу вас так обманывать, — сказал я ему. — Это не по-армянски.

Взять у него деньги — все равно, что продать ему права на Бруклинский мост²¹.

* * *

²¹ Ссылки на «продажу Бруклинского моста» широко распространены в американской массовой культуре как пример образцового надувательства (двое шарлатанов в начале XX века отличились тем, что продавали его доверчивым туристам по два раза в неделю в течение довольно долгого времени), сродни шутке московских таксистов, везущих с Ленинградского на Ярославский вокзал — а также в качестве устойчивого выражения в ответ на явно невероятное высказывание: «Если вы в это верите, то у меня есть один мост, который я могу вам уступить».

Другой отклик на ту же статью был менее забавным. Кто-то, чье имя мне ничего не говорило, прислал письмо в редакцию, где утверждал, что был знаком со мной во время войны. Скорее всего, так и было. По крайней мере, ясно, что он знал о моем взводе художников, поскольку довольно точно описал его. Он также знал, какое задание мы получили после того, как немецкую авиацию выгнали из неба над Германией и спрос на наши масштабные маскировочные шутки исчез. Больше всего мы были похожи на детей, которых пустили на склады Санта-Клауса: в нашу задачу входило оценить и описать все трофейные произведения искусства.

Автор письма служил в ставке главнокомандующего, и я, возможно, даже сносился с ним время от времени. Дальше в письме он излагал свои подозрения, что я, воспользовавшись ситуацией, украл несколько шедевров, которые должны теперь быть возвращены законным владельцам в Европе. Опасаясь судебного преследования, я запер эти шедевры в амбаре.

Неправда.

* * *

Он тоже не знает, что содержится в амбаре. Хотя признаюсь, что в чем-то он все же прав. Я действительно извлек выгоду из необычных обстоятельств, предоставленных мне войной. Разумеется, ничего из тех трофеев, которые передавали нам воинские подразделения, захватившие их, украсть я не мог. Все они шли под расписку, и ревизоры из отдела финансов навещали нас очень часто.

Но наши скитания в тылу сталкивали нас с отчаявшимися людьми, которые желали как-то сбыть принадлежавшие им картины. И вот тут нам иногда подворачивались *очень* выгодные сделки.

Нет, никому не досталось произведение старых мастеров или полотно, явно пришедшее из церкви, музея или известной частной коллекции. По крайней мере, *мне* о таком неизвестно. Полностью уверенным быть сложно.

Приспособленцы везде приспособленцы, а воры везде воры, в том числе и в мире искусства.

Сам я приобрел неподписанный набросок углем, который напомнил мне Сезанна, и подлинность которого я потом удостоверил. Теперь он находится в постоянной экспозиции Института Дизайна в Род-Айленде. Кроме того, я выкупил картину Матисса, любимого моего художника, у вдовы, которая сказала, что ее покойный муж получил ее прямо из первых рук. Впрочем, я также обжегся на фальшивом Гогене, и поделом.

Все свои покупки я пересылал на хранение единственному человеку во всех Соединенных Штатах, которому я доверял. Его звали Сэм Ву, он владел китайской прачечной в Нью-Йорке и какое-то время служил поваром у моего бывшего мастера, иллюстратора Дэна Грегори.

Вот так вот: сражаться за страну, в которой знаешь всего одного человека, да и тот — из китайской прачечной.

А в один прекрасный день мой взвод художников был брошен в бой, в попытке сдержать, если получится, последний большой прорыв немцев во Второй Мировой²².

* * *

Но ничего из этого не лежит в амбаре, и даже не принадлежит мне больше. Я все продал, когда вернулся с войны домой, получил порядочную пачку денег и вложил их на бирже. Я отказался от детской мечты стать художником. Я поступил в Нью-Йоркский университет, чтобы изучать бухгалтерию, экономику, деловое право и основы рекламы. Мое будущее лежало среди *предпринимателей*.

Вот что я думал об искусстве и своем месте в нем: да, я мог в точности запечатлеть любую увиденную сцену, запасшись терпением и рисовальными принадлежностями отличного качества. В конце концов, я был талантливым подмастерьем у самого дотошного иллюстратора нашего

²² Имеется в виду Арденнская операция, наступление немецких войск на западном фронте в декабре 1944 – январе 1945 г. Там же, 22 декабря 1944 года, попал в плен и сам Воннегут.

времени, Дэна Грегори. Но все, что мог делать он, и на что способен я, делают теперь фотоаппараты. Я уверен, что именно эта мысль подталкивала импрессионистов, кубистов, дадаистов, сюрреалистов и так далее в их попытках, весьма успешных, создания таких картин, которые не под силу фотоаппаратам и людям вроде Дэна Грегори.

Я пришел к выводу, что обладаю настолько заурядным, чтобы не сказать негодным, воображением, что никогда не поднимусь выше приличного фотоаппарата. Поэтому мне лучше удовлетвориться достижением рядового успеха, более общепринятого, чем карьера серьезного художника — заработать кучу денег. Меня это ничуть не огорчило. Напротив, я почувствовал *облегчение!*

Но мне по-прежнему доставляло удовольствие трепаться об искусстве. Разговаривать о картинах, в отличие от их создания, я мог не хуже многих. Так что я ходил ночами по барам вокруг университета, и легко познакомился с несколькими художниками, которые точно знали, что правы совершенно во всем, и не ожидали при этом никакого признания. И говорил, и пил я с ними наравне. Но что самое главное — когда ночь заканчивалась, я оплачивал счет. Деньги приходили ко мне с биржи, от государства в виде стипендии²³, и от благодарного народа в виде пожизненной пенсии, за глаз, пожертвованный мною в защиту Свободы.

Настоящим художникам, вероятно, казалось, что у меня есть неисчерпаемый источник денег. У меня можно было занять не только на выпивку, но и на квартплату, на первый взнос в счет новой машины, на аборт для любовницы, на аборт для жены. Все, что пожелаете. Сколько бы денег ни понадобилось, на какие угодно нужды, всегда можно обратиться к богатенькому Рабо Карабекяну.

* * *

²³ Ветераны Второй Мировой имели преимущественное право зачисления в учебные заведения, а также снабжались правительственной стипендией на время обучения — благодаря закону от 22 июня 1944 г., получившему название «G.I. Bill».

Да, я купил себе друзей. Источник денег не был, разумеется, неисчерпаемым. К концу месяца мои друзья вытягивали из меня все, что я имел. Но источник, на самом деле довольно мелкий, наполнялся вновь.

Все честно. Я, несомненно, получал удовольствие, находясь в их компании, тем большее, потому что они относились ко мне, как к художнику. Как к своему. Другая большая семья, вместо утраченного мной взвода.

И долги они отдавали не только дружбой. Они платили мне, как могли, своими картинами, которые тогда никому не были нужны.

* * *

Да, чуть не забыл: в то время я был женат, и жена моя была беременна. Несравненный любовник Рабо Карабекян сумел оплодотворить ее за время замужества *дважды*.

* * *

Я вернулся только что к пишущей машинке с прогулки в окрестностях своего бассейна. Я спросил у Целесты и ее дружков, обретающихся внутри и вокруг этого общественного физкультурного комплекса для местных подростков, знают ли они, кто такой герцог Синяя Борода. Я хотел упомянуть Синюю Бороду в этой книге, и мне нужно было знать, есть ли необходимость объяснять моим юным читателям, кто он был такой.

Никто из них не знал. Заодно я спросил, говорят ли им что-нибудь имена Джексона Поллока и Марка Ротко, или Терри Китчена, или Трумэна Капоте, Нельсона Альгрена, Ирвина Шоу, Джеймса Джонса — всех, кто тем или иным образом отметился не только в истории изобразительных искусств и литературы, но и в истории этих мест. Нет, они ничего им не говорили. А еще считается, что искусство и литература — путь к бессмертию.

Значит, так: герцог Синяя Борода — вымышленный персонаж старой-старой детской сказки, хотя, возможно,

и основанный на личности одного жестокого аристократа. В сказке у него было, последовательно, множество жен. И вот он женится в очередной раз, и привозит очередную юницу к себе в замок. Ей позволено заходить в любую из комнат, кроме одной, говорит он и указывает на закрытую дверь.

У Синей Бороды или плохо с психологией, или, наоборот, очень хорошо. Новая жена не может думать ни о чем другом, кроме содержимого комнаты за этой дверью, и решает тихонько подглядеть туда, пока его нет дома — а он на самом деле никуда не уезжает.

И застаёт он ее ровно в тот момент, когда она в ужасе смотрит на трупы всех предыдущих жен, которые он там хранит. Всех их он убил за то, что они открыли дверь в эту комнату.

Кроме самой первой. Самую первую он убил за что-то еще.

* * *

Так вот, среди тех, кому известно о запертом амбаре, больше всего мучается неразрешенностью загадки именно Цирцея Берман. Она непрерывно наседает на меня с требованиями сказать ей, где находятся ключи от шести замков, а я каждый раз отвечаю, что запер их в золотом ларце и закопал ларец у подножия Арарата.

Вот что я сказал ей в последний раз, а именно пять минут назад:

— Послушайте. Займитесь чем-нибудь другим, чем угодно. Я — герцог Синяя Борода, и для вас мой амбар — *запретная комната*.

В отличие от замка Синей Бороды в моем амбаре нет мертвых тел. Первая из моих двух жен, которую звали, и до сих пор зовут, Дороти, вскоре после развода со мной вышла замуж вторично, и была совершенно счастлива, насколько мне известно. Теперь она овдовела и переселилась в пляжный кооператив в городе Сарасота, во Флориде. Второй из ее мужей был тем человеком, в которого, как мы оба надеялись, мог бы превратиться я сразу после войны — умелым, обаятельным страховым агентом. Теперь у нас обоих есть по пляжу.

Моя вторая жена, милая Эдит, похоронена на кладбище «Зеленый ручей», неподалеку отсюда. Я собираюсь упокоиться там же — в нескольких ярдах от могил Джексона Поллока²⁴ и Терри Китчена.

Если же я и убил кого-то на войне, а так вполне могло случиться, то времени у меня на это было всего несколько секунд. Потом неизвестно откуда взявшийся снаряд оглушил меня и вышиб мне глаз.

* * *

В бытность двуглазым ребенком я был лучшим рисовальщиком за всю историю изрядно разболтанной системы среднего образования в поселке Сан-Игнасио — со-

²⁴ Джексон Поллок действительно похоронен на кладбище с таким названием в поселке Спрингс, являющемся частью Ист-Хэмптона. Могилы Терри Китчена там, разумеется, нет, как нет и никакого ручья. Рядом похоронена вдова Поллока, художница Ли Краснер.

мнительное достижение, но оно произвело на моих учителей такое впечатление, что они, в разговорах с моими родителями, прочили мне карьеру художника.

Подобного рода советы казались родителям настолько безответственными, что они в свою очередь попросили прекратить забивать мне голову такими идеями. По их сведениям, художники проводили жизнь в нищете и неизменно умирали прежде, чем к ним приходило признание. И тут они были, разумеется, правы. Картины мертвых авторов, бедствовавших большую часть жизни, представляют теперь самую ценную часть моей коллекции.

А художнику, желающему еще сильнее задрать цену на свои творения, рекомендую верное средство: самоубийство.

* * *

Но в 1927 году, когда мне было одиннадцать, и я, кстати, уже умел тачать сапоги лишь немногим хуже, чем отец, моя мать прочла статью об американском художнике, который зарабатывал столько же денег, сколько звезды экрана и финансовые воротилы, и более того, был ровней и звездам, и воротилам, владел яхтой, а также конюшней в Виргинии и домом на берегу океана в Монтоке, здесь рядом.

Мать говорила позже — не сильно позже, ведь ей оставался всего год жизни, — что она никогда не стала бы читать эту статью, если бы к ней не прилагалась фотография этого богатого художника на своей яхте. Яхта имела общее имя с горой, столь же священной для армян, как Фудзияма — для японцев: «Арарат».

«Он наверняка армянин», подумала она, и не ошиблась. В журнале говорилось, что он родился в Москве, в семье лошадника, звали его тогда Дан Григорян, и он какое-то время служил подмастерьем у главного гравировщика Его Императорского Величества Монетного двора.

В эту страну он прибыл в 1907 году, иммигрантом, а не беженцем от какой-нибудь бойни, изменил свое имя на «Дэн Грегори» и стал иллюстратором журналов, реклам-

ных приложений и книг для детей и юношества. Согласно автору статьи, он являлся самым высокооплачиваемым художником за всю историю Америки.

Вполне возможно, что Григори, или Григорян, как называли его мои родители, до сих пор им является — если перевести его доход в 20-е годы, или, в особенности, во время Великой Депрессии, на современные обесценившиеся деньги. Он запросто может выйти победителем, как среди живых, так и среди мертвых.

* * *

Моя мать очень практично относилась к американской жизни, в противоположность отцу. Она догадалась, что самой распространенной болезнью в Америке было одиночество, и что даже самые удачливые и успешные часто страдали от нее, а потому иногда на удивление чутко отнеслись к дружелюбным, привлекательным незнакомцам.

Моя мать сказала мне, и на лице у нее при этом было такое хитрое, почти ведьминское выражение, что я ее едва узнавал:

— Ты напишешь этому Григоряну *письмо*. В нем ты скажешь, что ты тоже армянин. А потом скажешь, что мечтаешь стать художником, хотя бы вполовину таким хорошим, как он, и что его ты считаешь величайшим художником на свете.

* * *

И я написал письмо — вернее, штук двадцать писем. Я выводил их одно за другим своим детским почерком до тех пор, пока мать не сочла забрасываемую наживку достаточно соблазнительной. И выполнял я эту тяжкую работу, окруженный густым облаком отцовских едкостей.

«Он перестал быть армянином, как только сменил фамилию» — говорил он. Или: «Раз он вырос в Москве, он русский, а не армянин». Или: «Я скажу вам, что я подумал бы о подобном письме: "В следующем он потребует денег"».

Наконец мать сказала ему по-армянски:

— Ты что, не видишь? Мы ловим рыбу. А ты так громко разговариваешь, что всю ее сейчас распугаешь.

Кстати, среди армян в Турции рыбная ловля, как я слышал, была делом не мужским, а как раз женским.

И на мое письмо клюнуло, да еще как!

Мы подсекли любовницу Дэна Грегори, бывшую танцовщицу варьете по имени Мэрили Кемп!

Она впоследствии станет первой моей женщиной — когда мне будет девятнадцать! Бог мой, да я же просто ветхий ретроград, все считаю свой первый опыт чем-то величественным, как небоскреб — в то время, как пятнадцатилетняя дочь моей кухарки принимает противозачаточные таблетки!

* * *

Мэрили Кемп написала мне, что она — помощница господина Грегори, и что они оба были чрезвычайно тронуты моим письмом. Однако он, как человек весьма занятой, попросил ее ответить от его лица. Ответ был на четырех страницах, почти такими же детскими каракулями, как и мои собственные. Он был написан дочерью неграмотного шахтера из Западной Виргинии, двадцати одного года от роду.

В тридцать семь она будет контессой Портомаджоре, будет жить в палаццо розового мрамора во Флоренции. В пятьдесят она будет крупнейшим оптовым посредником фирмы «Сони» в Европе и соберет лучшую коллекцию послевоенного американского искусства на континенте.

* * *

Мой отец сказал, что она, должно быть, сумасшедшая, раз пишет такие длинные письма совершенно незнакомому, далекому человеку, к тому же просто мальчишке.

Моя мать сказала, что она, должно быть, очень одинока. Так оно и было. Грегори держал ее, как держат интересных животных, за красоту, и иногда использовал в

качестве модели. Она ни в коем случае не была его по-
мощницей. Ни по одному вопросу ее мнение его не инте-
ресовало.

Она никогда не присутствовала на его званных обедах,
никогда не ездила с ним в путешествия, в рестораны, на
приемы, и никогда не была представлена его знаменитым
друзьям.

* * *

В период между 1927 и 1933 годами Мэрили Кемп на-
писала мне семьдесят восемь писем. Я могу точно назвать
число потому, что все они до сих пор у меня, стоят на полке
в библиотеке, в футляре и кожаном переплете ручной
работы. Переплет и футляр для них подарила мне на деся-
тилетие нашей свадьбы милая Эдит. Мадам Берман обна-
ружила их, как обнаружила уже все, что в этом доме как-то
затрагивает мои чувства. Кроме ключей к амбару.

Она прочла все письма, не осведомившись, не считаю
ли я их своим частным делом. Я, разумеется, считаю. Вот
что она мне сказала, и впервые я услышал в ее голосе вос-
хищение:

— Любое из этих писем говорит о чудесах жизни
больше, чем все картины в этом доме, вместе взятые. Они
рассказывают историю отвергнутой, замученной женщи-
ны, постепенно открывающей в себе писательский дар.
Она *стала* великим писателем. Надеюсь, ты это заметил.

— Заметил, — сказал я.

И в самом деле, с каждым письмом ее язык делался все
глубже и выразительней, наполнялся уверенностью и
достоинством.

— Какое у нее было образование?

— Восемь классов и год в старшей школе, — ответил я.

Мадам Берман изумленно покачала головой.

— Предполагаю, что это был за год, — сказала она.

* * *

Что касается моей стороны этой переписки, то основным содержанием моих писем были рисунки, которые я просил ее показать Дэну Грегори, в сопровождении кратких пояснительных записок.

После того, как я сообщил Мэрили, что мать умерла от столбняка, принесенного с консервной фабрики, ее письма стали по-матерински заботливыми, хотя она была всего на девять лет старше меня. Первое из этих заботливых писем пришло не из Нью-Йорка, а из Швейцарии, куда, как она писала мне, она отправилась кататься на лыжах.

Только когда я посетил ее во флорентийском палаццо после войны, выяснилась правда: Дэн Грегори отослал ее туда, совершенно одну, чтобы она избавилась в клинике от плода, который носила.

— За это мне следовало бы его поблагодарить, — сказала она мне во Флоренции. — Именно тогда я впервые заинтересовалась иностранными языками²⁵.

И засмеялась.

* * *

Мадам Берман сообщила мне, что у моей кухарки был не один аборт, как у Мэрили Кемп, а три — причем не в швейцарской клинике, а в кабинете врача в Саут-Хэмптоне. От этого мне стало тоскливо. С другой стороны, мне становится тоскливо почти от всех подробностей современной жизни.

Я не спросил, в каком месте в последовательность абортов вклинилось вынашивание до срока Целесты. Мне не хотелось этого знать, но мадам Берман обеспечила меня и этой информацией.

— Два аборта до Целесты и один после, — сказала она.

— Кухарка вам сама рассказала?

— Целеста мне рассказала, — ответила она. — Еще она сказала, что ее мать подумывает об операции по перевязке маточных труб.

²⁵ Швейцарская конфедерация признает четыре официальных языка: немецкий, итальянский, французский и ретороманский.

— Как хорошо, что мне это теперь известно, — сказал я, — на случай непредвиденных обстоятельств.

* * *

И снова я возвращаюсь в прошлое, хотя настоящее продолжает хватать меня за пятки, как взбесившийся фокстерьер.

Моя мать умерла в полной уверенности, что Дэн Грегори, от которого я не получил напрямую ни единого слова, выбрал меня своим протеже. Перед тем, как заболеть, она предсказывала, что Григорян отправит меня учиться в художественную школу, что Григорян убедит редакции журналов нанять меня иллюстратором, как только я вырасту, что Григорян познакомит меня со своими богатыми друзьями, а они научат меня, как и я смог бы разбогатеть, вкладывая деньги, которые я зарабатываю рисованием, в акции на бирже. В 1928 году всем казалось, что биржевые котировки никогда не падают, а только растут и растут — в точности, как и сейчас! Э-ге-гей!

Так что она упустила не только финансовый крах, наставший через год. Она также не присутствовала при том, как я осознал еще двумя годами позже, что не общался с Дэном Грегори даже опосредованно, и что он, скорее всего, даже не подозревал о моем существовании, а щедрые похвалы работ, отсылаемых мной для оценки в Нью-Йорк, исходили не от самого высокооплачиваемого художника в Америке, а от женщины, которая была ему, по словам моего отца, «то ли уборщицей, то ли кухаркой, то ли подстилкой».

Я помню тот день. Мне было лет пятнадцать, я вернулся домой из школы и застал отца на нашей крохотной кухне за столом, покрытым клеенкой, а перед ним стопкой лежали письма Мэрили. Он перечитал их все.

Никакого вторжения в мою личную жизнь тут не было. Письма принадлежали всей семье, если двух человек можно назвать семьей. Они были собственностью, накопленным капиталом, надежными облигациями, которые принесут дивиденды, как только созреют для меня, а я — для них. А когда они выйдут в тираж, я смогу позаботиться и об отце, потому что он в самом деле нуждался в заботе. Все его сбережения сгорели вместе с крахом Сберегательной Кассы Взаимопомощи округа Лума, которую все в поселке, включая и отца, называли теперь «Эль Банко Лопнуто». В те времена государство еще не страховало банковские вклады²⁶.

«Эль Банко Лопнуто», ко всему прочему, держал закладную на небольшой дом, первый этаж которого занимала мастерская отца, а второй — наша квартира. Отец купил этот дом, взяв в банке ссуду. Но когда банк прогорел, ликвидаторы распродали все активы и отозвали те ссуды, по которым были задержки в выплате — то есть,

²⁶ Государственная Корпорация Страхования Вкладов (FDIC), учрежденная в конце 1930-х как ответ правительства на волну разорений крупных и мелких банков в период Великой Депрессии, обеспечивает надежность вкладов в американские банки, обязуясь выплатить вкладчику полную сумму (до 100 тысяч долларов) в случае краха банка. Большинство банков участвуют в этой программе, выплачивая страховые взносы.

почти все. Угадайте, почему задерживались выплаты? Потому что жители не придумали ничего лучшего, чем доверить все свои деньги тому же самому «Эль Банко Лопнуто».

Так что отец, которого я застал в тот день за чтением писем Мэрили, стал всего лишь квартиросъемщиком в доме, который раньше ему принадлежал. Что же касается мастерской внизу, то она пустовала, потому что снимать и ее тоже денег у него не было. Кроме того, его станки были давно пущены с молотка, за гроши, в которых мы тогда нуждались — как и все, кто не придумал ничего лучшего, чем доверить свои деньги «Эль Банко Лопнуто».

Обхохочешься!

* * *

Когда я вошел в дом со своими учебниками, отец поднял глаза от писем, и вот что он сказал:

— Ты знаешь, кто эта женщина? Она обещает дать тебе все, но ей нечего давать.

И он назвал имя негодяя-армянина, который одурачил его и мать в Каире.

— Она — еще один Вартан Мамиконян, — сказал он.

— В каком смысле? — спросил я.

Он ответил в точности так, как будто письма в самом деле были страховыми полисами или чем там еще:

— Я прочел то, что написано мелким шрифтом.

Самые первые письма Мэрили, продолжал он, пестрят фразами «Господин Грегори говорит», «Господин Грегори считает», «Господин Грегори передает, что», но начиная с третьего письма эти обороты постепенно исчезают.

— Она — никто, и никогда никем не станет, но все равно пытается, и ворует для этого репутацию Григоряна!

Никакого потрясения я не испытал. Где-то внутри себя я и сам отметил эту особенность. И постарался запрятать выводы, которые из нее следовали, еще глубже внутрь себя.

* * *

Я спросил у отца, почему он решил вдруг начать расследование. Он указал на стопку из десяти книг, которые были доставлены от Мэрили вскоре после того, как я ушел в школу. Он сложил их в сушку над раковиной, полной грязных тарелок и кастрюль. Я просмотрел их. Это были книги из золотой библиотеки для детей того времени — «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Швейцарские робинзоны», «Приключения Робин Гуда», греческие мифы, «Гулливер», адаптированный Шекспир, и так далее. Круг детского чтения перед Второй Мировой находился в совершенно другой вселенной по отношению к нежелательным беременностям, инцесту, каторжной работе за гроши и опасным дружественным связям между старшеклассниками из романов Полли Мэдисон.

Мэрили выслала мне эти книги потому, что они были богато иллюстрированы Дэном Грегори. Они были не только самыми красивыми предметами в нашей квартире. Они были, пожалуй, самыми красивыми предметами во всем городе и окрестностях, и я отнесся к ним соответственно.

— Как мило с ее стороны! — воскликнул я. — Ты посмотри только! Ты только *посмотри!*

— Я посмотрел, — сказал он.

— Правда ведь, прекрасные книги?

— Да, — отозвался он, — прекрасные. Но объясни мне, пожалуйста, почему господин Григорян, который придерживается о тебе такого высокого мнения, не поставил свою подпись ни на одной из них? Не нацарапал ни одного слова, чтобы подбодрить моего талантливое сына?

Весь разговор происходил на армянском. С тех пор, как прогорел «Эль Банко Лопнута», дома отец говорил только по-армянски.

* * *

Для меня тогда было уже не так уж и важно, от кого исходили советы и похвала в письмах — от Грегори или от Мэрили. Скажу без ложной скромности, что я стал к тому

времени уже чертовски приличным художником для своего возраста. Мое будущее рисовалось мне, с помощью из Нью-Йорка или без нее, настолько радужным, что я взялся защищать Мэрили по большей части для того, чтобы сделать отцу приятное.

— Если эта Мэрили, неважно, кто она такая и что о себе думает, считает твои работы такими ценными, — сказал он, — почему она до сих пор не продала ни одной и не выслала тебе вырученные деньги?

— Она и так очень щедро ко мне относится, — возразил я.

И так оно и было: она щедро тратила на меня не только свое время, но и самые наилучшие материалы, которые тогда можно было достать. Я и не подозревал об их стоимости. Она, впрочем, тоже. Она просто брала их, без разрешения, из запасов в подвале особняка Грегори. Через пару лет я сам увидел этот подвал. Там было достаточно материалов, чтобы удовлетворить нужды Грегори, несмотря на его плодовитость, на десять жизней вперед. Она думала, что он не заметит, если она пошлет мне малую их часть. Разрешения она не спросила, потому что боялась его хуже смерти.

Он очень много бил ее, в том числе и ногами.

Возвращаясь к стоимости материалов: краски, которыми я тогда пользовался, уж точно не сравнить с «Атласной Дюра-люкс». Писал я маслом «Муссини» и акварелью «Горадам», из Германии. Мои кисти приехали из Англии, от «Уинзор и Ньютон». Пастель, цветные карандаши и тушь — от «Лефевр-Фуанэ» из Парижа. Холсты были классенсовские, бельгийские. Ни у одного художника к западу от Скалистых гор не было такого набора материалов!

Кстати сказать, Дэн Грегори был единственным из известных мне иллюстраторов, кто ожидал, что его работы займут место среди великих шедевров мировой культуры, и использовал для них материалы, которым и в самом деле могло быть суждено то, что обещала «Атласная Дюра-люкс»: пережить улыбку Джоконды. Прочим было довольно, если их работа не расплзлась по пути в типографию. И все они иронично посмеивались, уверяя, что

занимаются этой халтурой исключительно из-за денег, что иллюстрация — это искусство для тех, кто не разбирается в искусстве. Все, кроме Дэна Грегори.

* * *

- Она с тобой *играет*, — сказал мой отец.
- Во что? — спросил я.
- В то, что она — важная персона, — ответил он.

* * *

Вдовица Берман согласилась, что Мэрили *действительно* играла со мной, только не в том смысле, в котором говорил отец.

— Ты был ее *публикой*, — сказала она. — Писатели способны *убить* за читающую публику.

— Публика в количестве *одного человека*?

— А ей больше и не нужно было. И никому больше не нужно. Ты только посмотри, как выправился ее почерк, как обогатился словарь. Посмотри, сколько тем для обсуждения она смогла найти, когда осознала, что ты хватаешь на лету каждое ее слово. Этому мерзавцу Грегори ее писательство было без надобности. В письмах домой тоже никакого смысла не было. У нее в семье и читать-то не умели! Ты что, в самом деле верил ей, что она так подробно описывает все увиденное ею в городе только для того, чтобы ты мог это рисовать?

— Да, — сказал я, — пожалуй.

Мэрили присылала мне рассказы об очередях за бесплатным хлебом, в которых стояли те, кто потерял работу из-за Великой Депрессии, о людях в отличных костюмах, явно привыкших иметь деньги, которые торговали яблоками на каждом углу, о безногом на специальной тележке, представлявшемся ветераном Первой Мировой, который продавал карандаши на вокзале, о господах из высшего общества, которые были счастливы водить знакомство с

гангстерами по подвалам с нелегальной выпивкой²⁷ — о такого рода вещах.

— Только так и можно получать удовольствие от писательства и одновременно заставлять себя соответствовать высоким меркам, — сказала мадам Берман. — Писать надо не для всего мира, и не для десяти человек, и даже не для двух. Пишешь всегда для кого-то одного²⁸.

* * *

— И кто же этот один, для которого пишете вы? — спросил я.

Вот что она ответила:

— Возможно, тебе это покажется странным. Естественно было бы, наверное, если бы этот человек был того же возраста, что и мои читатели, но это не так. В этом и состоит, мне кажется, секрет успеха моих книг. Именно поэтому молодежь считает их сильными и заслуживающими доверия — я пишу не так, как разговаривают между собой два тупых подростка. В моих рукописях не появляется ничего, что не показалось бы интересным и правдивым Эйбу Берману.

Эйб Берман — это, само собой, ее муж-нейрохирург, умерший семь месяцев назад от инсульта.

* * *

²⁷ XVIII поправка к Конституции США, принятая в 1919 году, запрещала производство и продажу (но не употребление) алкогольных напитков («сухой закон»). Ее действие было отменено XXI поправкой только в 1933 году; законопроект об отмене был внесен в Конгресс через неделю после переезда Рабо в Нью-Йорк и утвержден ассамблеями штатов через несколько месяцев.

²⁸ Эта теория (поставленная, кстати, седьмым пунктом в правилах писательского ремесла — см. примечание 3) подробно изложена самим Воннегутом в предисловии к роману *Slapstick* (1976), где он также признается, что для него этот один человек — его покойная сестра Алиса (отношения с которой и выведены в гротескной форме в этой книге).

Она снова потребовала у меня ключи к амбару. Я сказал ей, что если она еще *хотя бы раз* упомянет при мне амбар, я всем расскажу, что она на самом деле Полли Мэдисон — приглашу к себе корреспондентов из местной газеты, чтобы те взяли у нее интервью, и тому подобное. Это, конечно, чревато не только разрушенной жизнью Пола Шлезингера: ко мне на порог явилась бы толпа религиозных фанатиков, замышляющих самосуд.

Я недавно наткнулся на проповедь одного телевизионного церковника, так вот, он рассказывал, что дьявол в своей войне с американскими семейными традициями использует четыре оружия: коммунизм, наркотики, рок-н-ролл и книги, которые пишет сестра дьявола Полли Мэдисон.

* * *

Возвращаюсь к переписке с Мэрили Кемп. После того, как отец обозвал ее еще одним Вартаном Мамиконяном, мои собственные послания к ней стали гораздо прохладнее. Я больше ничего от нее не ожидал. К тому же я вырос, и как следствие этого больше не хотел, чтобы она продолжала пытаться стать мне второй матерью. Поскольку я теперь мужчина, мать мне вовсе не нужна, считал я.

Более того, безо всякой помощи с ее стороны я начал зарабатывать рисованием, несмотря на свой юный возраст, прямо в нашем родном разорившемся Сан-Игнасио. Я пошел в редакцию местной газеты, «Вестник Лума», и спросил, нет ли у них для меня работы, которую я мог бы делать после школы. При этом я упомянул, что неплохо рисую. Редактор спросил меня, могу ли я изобразить итальянского диктатора Бенито Муссолини — кстати, самого великого человека в мире с точки зрения Дэна Грегори. На это мне понадобилось минуты три, даже не глядя на фотографии.

Тогда он велел мне нарисовать прекрасного ангела, женского пола. Я нарисовал.

Тогда он велел мне нарисовать Муссолини, льющего из бутылки какую-то жидкость в рот прекрасного ангела.

Бутылку он велел подписать «Касторка», а ангела — «Мир между народами». Муссолини выдумал такое наказание: он заставлял неугодных выпивать кварту касторки. Это может показаться забавным способом выразить кому-то свое недовольство. На самом деле жертвы чаще всего погибали, от неудержимой рвоты и поноса. Даже у тех, кому удавалось выжить, внутренности были навсегда испорчены.

Так я, в нежном возрасте, стал политическим карикатуристом. Мои карикатуры выходили раз в неделю. Редактор каждый раз подробно описывал мне, что именно я должен рисовать.

* * *

К моему удивлению, отец тоже начал проявлять художественные склонности. Хотя я часто гадал, откуда у меня могла взяться способность к рисованию, одно я знал точно: она пришла не от него, и вообще не с его стороны семьи. Когда он еще владел сапожной мастерской, он никогда не пытался использовать обрезки кожи каким-нибудь интересным способом — сделать, к примеру, ремень для меня или сумочку для матери. Его дело было чинить обувь, вот и все.

Но тут, словно под гипнозом, при помощи самых обычных инструментов он начал делать прекраснейшие ковбойские сапоги и торговать ими вразнос. И делал он их не просто прочными и удобными, нет, это была бижутерия для мужеских икр и ступней, сверкающая золотыми и серебряными звездами, цветами, фигурками орлов и взбрыкивающих мустангов, которые он вырезал из жестяных банок и пивных пробок.

Наблюдать за этим новым развитием мне было не так уж приятно.

Если честно, меня дрожь пробирала, потому что я заглядывал ему в глаза, а там внутри никого не было.

* * *

То же самое я увижу потом, на много лет позже, и с Терри Китченом. Он был моим лучшим другом. Вдруг, ни с того ни с сего, он начал создавать картины, которые теперь позволяют некоторым утверждать, что он был величайшим из абстрактных экспрессионистов — выше даже, чем Поллок, чем Ротко.

С этим у меня, в общем, никаких проблем. Вот только когда я заглядывал в глаза лучшего моего друга, там внутри никого уже не было.

* * *

Эхма.

В общем, так: к концу 1932 года свежие письма от Мэрили оставались по большей части нераспечатанными. Мне надоело играть в ее публику.

И тут на мое имя пришла телеграмма.

Раскрывая ее, отец отметил, что в нашей семье еще никто и никогда не получал телеграмм.

Вот что там говорилось:

ПРЕДЛАГАЮ МЕСТО ПОДМАСТЕРЬЯ ТЧК
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПЕРЕЕЗД НЬЮ-ЙОРК ЗПТ
ТАКЖЕ БЕСПЛАТНАЯ КОМНАТА ЗПТ
СТОЛ ЗПТ НЕБОЛЬШАЯ СТИПЕНДИЯ ЗПТ
УРОКИ РИСОВАНИЯ ТЧК

ДЭН ГРЕГОРИ

ПЕРВЫМ, КОМУ Я РАССКАЗАЛ об этой ошеломляющей перспективе, был старый редактор газеты, для которого я рисовал карикатуры. Его звали Арнольд Коутс. Вот что он мне сказал:

— Ты и в самом деле художник, и тебе нужно бежать отсюда, иначе ты скукожишься, как изюм на солнце. Об отце можешь не беспокоиться. Он превратился в самодостаточного, довольного жизнью ходячего мертвеца. Прошу прощения, конечно.

— Нью-Йорк будет для тебя всего лишь пересадкой, — продолжал он. — Все настоящие художники — в Европе, так было и будет всегда.

Тут он ошибался.

— Я никогда раньше не молился, но сегодня ночью я прочту молитву за тебя, чтобы тебе никогда не пришлось попасть в Европу солдатом. Нельзя позволить им снова нас одурачить, чтобы мы снова пошли, как скот, под их ружья и пушки — которые они так любят. Ты посмотри, какого размера армии они содержат посреди Великой Депрессии! Если к тому времени, как ты переедешь в Европу, города там будут все еще стоять, — сказал он, — и ты станешь часами просиживать в кафе, потягивать кофе, вино или пиво и спорить о живописи, о музыке, о литературе — никогда не забывай, что все европейцы вокруг тебя, хотя они и будут казаться тебе гораздо более культурными, чем американцы, ждут — не дождутся на самом деле лишь одного: когда же снова можно будет законным образом убивать друг дружку и рушить все без разбору.

— Будь моя воля, — сказал он, — в американских учебниках географии все европейские страны были бы помечены своими настоящими именами: Сифилитическая империя, Самоубийственная республика, Шизофрения — у которой, разумеется, в соседях прекраснейшая Паранойя.

— Вот так вот! — сказал он. — Европу я для тебя уже испортил, хотя ты ее еще не разу не видел. Возможно, я испортил для тебя и живопись тоже. Надеюсь, что нет. Нельзя винить художников за то, что их создания, прекрасные и чаще всего совершенно бесхитростные, неизменно делают европейцев только несчастнее и кровожаднее.

* * *

В то время для патриотически настроенного американца было обычным делом так изъясняться. Удивительно просто, насколько война была нам не по нутру. Мы хвастались, какие маленькие у нас армия и флот, как ничтожно влияние генералов и адмиралов в правительстве. Производителей оружия мы называли «торговцами смертью».

Представляете?

* * *

Теперь-то, разумеется, торговля смертью за деньги, взятые займы у наших внуков — едва ли не единственная отрасль промышленности, избежавшая банкротства, так что основные виды искусства, кинофильмы, телепередачи, речи наших политиков и передовицы газет просто обязаны твердить нам одно и то же: да, война — это ад, но единственный путь из мальчиков в мужи лежит через какую-нибудь перестрелку. Желательно, конечно, на поле боя, но без этой детали можно и обойтись.

* * *

Итак, я отправился в Нью-Йорк, чтобы заново родиться. Тогда в Америке было несложно переехать куда-нибудь в другое место и начать все заново, как, впрочем, и сейчас. А у меня, в отличие от родителей, к тому же нигде не осталось клочка якобы священной земли, или толпы друзей и родственников. Число «ноль» вообще исполнено более глубокого философского смысла в Соединенных Штатах, чем где-либо еще.

— Пустое дело, — говорит американец и ныряет с вышки.

Голова моя действительно опустошилась за то время, что я пересекал наш материк во чреве пульмановского вагона — как будто не было на свете никакого Сан-Игнасио. Воистину, когда экспресс «XX век» из Чикаго нырнул в обвешанный проводами и трубами тоннель под Нью-Йорком, я таким образом был вытолкнут из чрева в родовые пути.

И десять минут спустя я, облаченный в первый в моей жизни костюм, с фибровым чемоданом и папкой, полной моих лучших рисунков, подмышкой, был рожден в Центральном вокзал.

Кто же принимал столь очаровательного армянского младенца?

Никто, вот кто.

* * *

Я мог бы пригодиться Дэну Грегори для отличной иллюстрации к истории о сельском недотепе, который оказался вдруг в одиночестве в большом городе, где никогда раньше не бывал. Мой костюм был заказан по почте из каталога «Сирз»²⁹, и никто не мог изобразить, как дешево смотрится одежда массового пошива, лучше, чем Дэн Гре-

²⁹ Каталог продажи по почте фирмы «Сирз и Робэк», впервые выпущенный в 1888 году и ориентированный на фермеров (с целью избавить их от необходимости выезжать в город за предметами первой необходимости), вскоре стал универсальной «Библией потребителя», предлагая широчайший ассортимент качественных товаров — вплоть до автомобилей.

гори. Мои ботинки изнашивались и потрескались, но я их начистил, и сам поставил новые резиновые набойки. Кроме того, я вставил в них новые шнурки, но один из шнурков лопнул где-то на подъезде к Канзас-Сити. Наблюдательный человек сразу обратил бы внимание на неуклюже завязанный узел. Никто не мог выразить душевное и финансовое состояние персонажа через его обувь лучше, чем Дэн Грегори.

Вот только мое лицо никак не подходило сельскому недотепе тех времен. Дэну Грегори пришлось бы сделать меня англосаксом.

* * *

Мой же собственный профиль он мог бы использовать в книжке про индейцев. Из меня вышел бы недурной Гайавата. Однажды он выполнял заказ на иллюстрации к роскошному изданию «Гайаваты», и для заглавного персонажа ему позировал сын повара-грека.

А в кинофильмах тогда любой из большеносых выходцев с Ближнего Востока или с берегов Средиземного моря, если хоть чуть-чуть понимал в актерском ремесле, мог бы с успехом играть какого-нибудь кровожадного воина из племени сиу, например. Зрители были бы вполне удовлетворены.

* * *

Мне так хотелось назад, в утробу поезда! Я был так *счастлив* в ней! Я просто обожал этот поезд! Думаю, сам Всевышний радовался, как ребенок, когда человек, смешав железо, воду и огонь, создал паровоз!

Теперь-то, конечно, везде сплошной плутоний и лазеры.

* * *

А уж как Дэн Грегори рисовал поезда! Он сверялся с чертежами, присланными с завода, чтобы неправильно

расположенная заклепка, или что там еще, не испортила его творение для железнодорожника. Если бы он рисовал скорый «ХХ век» в тот момент, когда я вышел из него, то грязь и копоть на боках вагонов была бы в точности такой, какой поезд покрывается на перегоне между Чикаго и Нью-Йорком. Никто не мог изобразить сажу лучше, чем Дэн Грегори.

Но его там не было. Где же он был? Где была Мэрили? Почему они не послали кого-нибудь подобрать меня, в огромном «Мармоне» с откидным верхом, принадлежавшем Грегори?

* * *

Он точно знал время моего прибытия. Он сам выбрал день, очень легко запоминающийся. Я приехал в день святого Валентина.

И он так внимательно отнесся ко мне в нашей переписке, которую вел теперь без помощи Мэрили или лакеев. Все письма были написаны его собственной рукой. Он писал коротко, но был невероятно щедр. Он оплатил покупку костюма не только для меня, но и для отца.

Каким же участливым он был в своих записках! Чтобы я не испугался и не осрамился во время путешествия на поезде, он объяснил мне, как вести себя в купе и вагоне-ресторане, сколько и в какой момент давать на чай проводникам и носильщикам, как делать пересадку в Чикаго³⁰. Он опекал меня заботливее, чем собственного сына, которого у него не было.

Он даже подумал о том, чтобы выслать мне деньги на дорожные расходы почтовым переводом, а не банковским чеком, что означало осведомленность о крахе единственного банка в Сан-Игнасио.

Но вот чего я не знал, так это того, что в декабре, когда он отправил мне телеграмму, Мэрили лежала в больнице с

³⁰ Как в те времена, так и сейчас не существовало прямого пассажирского рейса через всю страну. Большинство дальних поездов с обоих берегов шли в Чикаго – крупнейший узел железнодорожного транспорта.

переломами обеих ног и одной из рук. Он толкнул ее на пороге своей мастерской, и она полетела кувырком вниз по лестнице. Когда она приземлилась у подножия, она не выглядела живой, и за всем этим наблюдали два человека из прислуги, которые как раз оказались там — у подножия лестницы.

Так что Грегори был напуган и мучился совестью. Когда он, пристыженный, пришел навестить Мэрили в больницу, он стал уверять ее, что раскаивается, и так любит ее, что готов дать ей все, что она ни пожелает — все, что угодно.

Он-то, наверное, думал, что она попросит бриллиантов или чего-нибудь в этом роде, а она попросила человека.

Она попросила меня.

* * *

Цирцея Берман предположила, что я был для нее заменой тому армянскому ребенку, которого изгнали из ее чрева в Швейцарии.

Возможно.

* * *

Мэрили объяснила Грегори, что написать в телеграмме, потом — сколько денег выслать и как, и так далее, и так далее. Когда я достиг Нью-Йорка, она все еще была в больнице, но она никак не ожидала, что он бросит меня на вокзале одного.

А он именно это и сделал.

В нем опять проснулась злоба.

* * *

Но и это была еще не вся правда. *Всю* правду я не узнал до тех пор, пока не посетил Мэрили во Флоренции, после войны. Кстати, к тому времени Грегори уже десять лет как лежал в могиле, в Египте.

Только после войны Мэрили, теперь уже контесса Портомаджоре, рассказала мне, что я и был причиной того, что она полетела в 1932 году вниз по лестнице. Она берегла меня от этого стыдного знания — как и Дэн Грегори, хотя и по совсем иным причинам. В тот вечер, когда он ее чуть не убил, она пришла к нему в мастерскую, чтобы заставить его наконец серьезно отнестись к моим работам. За все те годы, что я высылал в Нью-Йорк рисунки, он ни разу не взглянул ни на один из них. Мэрили казалось, что на этот раз все будет иначе, потому что Грегори находился в самом приятном на ее памяти расположении духа. Знаете, почему? В тот день он получил благодарственное письмо от человека, которого считал величайшим вождем в мире, от итальянского диктатора Муссолини, того самого, кто поил своих врагов касторкой.

Муссолини благодарил его за свой портрет, который Грегори написал и преподнес ему в дар. Муссолини был изображен в генеральской форме во главе батальона альпийских стрелков, на рассвете на вершине горы. Можете быть уверены, что каждая деталь, все оторочки, канты, галуны, петлицы, выпушки, все ордена были выписаны в точности так, как положено. Никто не мог изобразить военную форму лучше, чем Дэн Грегори.

Кстати, когда Грегори восемью годами позже расстреляют в Египте англичане, на нем тоже будет итальянская военная форма.

* * *

Но я вот о чем: Мэрили разложила мои рисунки на длинном обеденном столе, и он понял, чего она от него хочет. Как она и надеялась, он проковылял к столу, излучая добродушие. Однако, едва подойдя поближе, он взорвался от ярости.

То, что было изображено на моих рисунках, не имело к этому никакого отношения. Дело было в качестве материалов, которые я использовал. Мальчишка из Калифорнии не мог позволить себе такие дорогие заморские крас-

ки, такую бумагу и такой холст. Без сомнения, Мэрили стащила их из его подвала.

Поэтому он ее и пнул, а она покатила вниз по лестнице.

* * *

Я все хочу где-нибудь рассказать про костюм, который я заказал из каталога «Сирз» вместе со своим. Я и отец сняли мерки друг с друга. Это было и само по себе странно, поскольку я не припомню, чтобы мы когда-нибудь раньше друг до друга дотрагивались.

Но когда костюмы прибыли, стало ясно, что при изготовлении брюк для отца кто-то где-то не в том месте поставил запяную. Ноги у него были короткие, но штанины были еще короче. Пуговицы не сходились на его тощей талии. Пиджак, впрочем, был пошит безукоризненно.

Я тогда сказал ему:

— Очень обидно вышло с брюками. Придется отправить их обратно.

А он сказал:

— Нет. Мне все очень нравится. Прекрасный похоронный костюм.

А я сказал:

— В каком смысле — «похоронный»?

Мне сразу представилось, как он ходит на похороны без штанов, хотя, насколько мне известно, он в своей жизни присутствовал только на одних похоронах — моей матери.

А он сказал:

— На собственные похороны брюки надевать не обязательно, — сказал он.

* * *

Когда пятью годами позже я вернулся в Сан-Игнасио на его похороны, он был облачен по меньшей мере в пиджак от того костюма, но нижняя половина гроба была

закрыта, поэтому мне пришлось спросить работника похоронного бюро, одет ли отец в брюки.

Оказалось, что да, одет, и брюки отлично сидели. Стало быть, отец все же добился прилично сидящей замены от «Сирз».

В ответе гробовщика были, впрочем, два неожиданных момента. Кстати, это был не тот же самый гробовщик, который погребал мою мать. Тот, что погребал мою мать, разорился и уехал из города в поисках удачи. А тот, что собирался погребать отца, наоборот, в поисках удачи приехал в Сан-Игнасио, где, как известно, текут молочные реки в кисельных берегах.

Первой неожиданностью для меня было то, что отец завещал похоронить себя в ковбойских сапогах собственной выделки. Они были на нем, когда он умер в кинотеатре.

А вторым моментом была уверенность гробовщика, что мой отец — магометанин. Это его радовало. Он почувствовал вершину своих изысканий в области выражения напускной набожности посреди нашей безмерно безразличной демократии.

— Ваш отец — первый магометанин, с которым мне приходится иметь дело, — сказал он. — Хотелось бы надеяться, что я не допустил серьезной ошибки. Здесь нет ни одного магометанина, к которому я мог бы обратиться за советом. Мне пришлось бы ехать аж в Лос-Анджелес.

Мне не хотелось портить ему удовольствие. Я сказал, что все выглядит наилучшим образом.

— Не ешьте только свинины поблизости от гроба, — добавил я.

— И это все? — спросил он.

— Это все, — сказал я. — И не забудьте сказать «Хвала Аллаху», когда будете закрывать крышку.

Что он и сделал.

ХОРОШИ ЛИ БЫЛИ ТЕ РИСУНКИ, на которые Дэн Грегори успел взглянуть, прежде чем столкнул Мэрили вниз по лестнице? Если говорить не о сущности, а о технике, то они были очень даже недурны для мальчишки моего возраста — мальчишки, все самостоятельное обучение которого состояло из перерисовывания, штрих в штрих, иллюстраций Дэна Грегори.

Очевидно, что мне на роду написано рисовать лучше других, так же, как вдовеце Берман и Полу Шлезингеру на роду написано лучше других выдумывать истории. А другим написано на роду петь, танцевать, следить в телескопы за звездами, делать фокусы, быть президентами или спортсменами, и так далее.

Мне кажется, что это началось еще в те времена, когда люди жили небольшими семейными группами — человек по пятьдесят, много когда по сто. И при помощи эволюции, или Господа Бога, все устроилось через генетику таким образом, чтобы этим семьям было легче жить, чтобы всегда нашелся кто-нибудь, кто мог бы рассказать что-нибудь интересное вечером у огня, а кто-нибудь другой — нарисовать картину на стене пещеры, а еще кто-то ничего бы не боялся, и так далее.

Вот так я думаю. И разумеется, эта модель теперь уже больше не работает, потому что простая одаренность в какой-то области совершенно обесценилась с приходом печатного станка, и радио, и телевидения, и всего остального. Умеренно одаренный человек, который был бы сокровищем для всей округи тысячу лет назад, вынужден забросить свой талант, найти себе другое занятие, потому

что современные средства сообщения ежедневно, непрерывно заставляют его соревноваться с чемпионами мира в его области.

На всю планету вполне достаточно теперь иметь по десятку наилучших представителей в каждой области человеческой одаренности. А умеренно талантливый человек задавливает в себе свой талант до тех пор, пока, фигурально говоря, не напьется на свадьбе и не начнет отбивать чечетку на столе, в манере Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Для таких людей мы придумали особое слово. Мы говорим, что они выделяются.

И какова же награда этим людям? На следующее утро они слышат от нас: «Ну и *награлся* же ты вчера!»

* * *

Так что, став подмастерьем у Дэна Грегори, я вышел на бой с чемпионом мира в области массового искусства. Бесчисленное множество одаренных молодых художников, поглядев на его иллюстрации, бросили рисование с мыслью: «Боже мой, мне никогда не удастся создать *такую* красоту».

Я осознаю теперь свое тогдашнее нахальство. Еще когда я только начал копировать Грегори, уже тогда я думал: «Если я буду много работать, то, черт возьми, и я смогу точно так же».

* * *

Так вот, я стоял на главном вокзале, а вокруг меня все обнимались и целовались — со всеми, как мне тогда казалось. Я не ожидал, что Дэн Грегори прибедет встретить меня лично, но почему не было Мэрили?

Знала ли она, как я выгляжу? Без сомнения. Я послал ей множество автопортретов, и несколько снимков, сделанных моей матерью.

Отец, кстати, не прикасался к фотоаппарату. Он говорил, что камера сохраняет лишь ногти, волосы и ошметки кожи, сброшенные давно ушедшими людьми. Я полагаю,

он считал фотографии жалкой заменой убитым во время резни.

Но даже если бы Мэрили и не видела ни одного из тех рисунков и снимков, меня все равно не составило бы труда вычислить. Моя кожа была намного темнее, чем у всех остальных пассажиров спальных вагонов. А человеку с кожей еще темнее, чем моя, по обычаям того времени вход в спальный вагон и вовсе воспрещался³¹ — как и почти во все гостиницы, театры и рестораны.

* * *

А был ли я уверен, что узнаю на вокзале Мэрили? Как ни смешно, нет. Она за годы нашей переписки выслала мне девять своих фотографий, которые переплетены теперь вместе с письмами. Снимки сделал сам Дэн Грегори, при помощи наилучшей фототехники. При желании он вполне мог бы стать успешным фотографом. Но на каждом Грегори одел ее в костюм и придал ей позу персонажа из какой-нибудь книги, к которой он делал иллюстрации — императрицы Жозефины, модницы из произведений Фицджеральда, пещерной жительницы, жены первопоселенца, русалки с рыбьим хвостом, и так далее. И тогда, и сейчас было сложно поверить, что на снимках одна и та же женщина, а не девять разных.

На платформе было полно красавиц. Скорый «XX век» был тогда самым шикарным из всех поездов³². Я ловил

³¹ Решение Верховного Суда по делу «Плесси против Фергюсона» в 1896 году ввело доктрину «равный и раздельный», узаконившую сегрегацию железнодорожных вагонов (впоследствии доктрина была распространена также на рестораны, школы и прочие общественные места), если они имели в целом равное качество для белых и чернокожих пассажиров. Это решение было отменено в 1954 году.

³² Действительно самый роскошный и скоростной поезд того времени, «гордость нации»; в дороге проводил ровно 16 часов (средняя скорость — 100 км/ч) и использовал установленные на разъездах вдоль путей длинные короба с водой для забора в тендер ковшом на ходу, без остановок. По прибытии на конечные станции пассажиры сходили на платформу по

глаза женщин, одной за другой, в надежде на магниевую вспышку узнавания в их головах. Боюсь, что все, чего я добился — это утвердить каждую из них во мнении, что представители темных рас и в самом деле до предела похотливы, и ушли от горилл и шимпанзе не так далеко, как белые люди.

* * *

Полли Мэдисон, она же Цирцея Берман, только что зашла и ушла, прочитав предварительно лист, заправленный в пишущую машинку, и не спросив, не возражаю ли я. А я очень даже возражаю!

— Я не закончил предложение! — сказал я.

— Все мы не закончили предложение. Мне стало интересно, не ползут ли у тебя по коже мурашки, когда ты пишешь о таком далеком прошлом и о людях в нем.

— Да нет, не так, чтобы заметно, — ответил я. — Я успел разозлиться на много разных вещей, о которых мне не приходилось вспоминать годами, но это, пожалуй, все. Мурашки? Нет, не ползут.

— А ты задумайся. Ты ведь знаешь, как много всего страшного произойдет с ними со всеми, в том числе и с тобой. Неужели тебе не хотелось бы прыгнуть в машину времени, попасть в прошлое и предупредить их?

И она обрисовала мне странную картину на лос-анджелесском вокзале в далеком 1933 году:

— Армянский подросток, с фибровым чемоданом и папкой подмышкой, прощается со своим отцом. Он отправляется искать счастья за две с половиной тысячи миль, в большом городе. К нему подваливает старик с повязкой через глаз, который только что прибыл в машине времени из 1987 года. И что же старик говорит ему?

— Надо подумать, — сказал я.

Потом я покачал головой:

— Ничего не говорит. Машина времени отменяется.

специально изготовленным и разворачиваемым исключительно для них ковровым дорожкам.

— Совсем ничего?

И вот что я ей сказал:

— Мне хотелось бы, чтобы он как можно дольше продолжал верить в то, что сможет стать великим художником и хорошим отцом.

* * *

Прошло всего полчаса. Она только что снова всовывалась ко мне в комнату.

— Я тут придумала одну вещь, которую ты мог бы где-нибудь вставить, — объявила она. — Мне она пришла в голову, когда я вспоминала то, что ты писал раньше, как твой отец начал делать прекрасные ковбойские сапоги, а ты смотрел ему в глаза и там внутри больше никого не было — или как твой друг Терри Китчен начал создавать лучшие свои произведения при помощи краскопульта, и ты смотрел ему в глаза и там внутри больше никого не было.

Я не выдержал. Я выключил машинку. Знаете, где я научился печатать вслепую? На курсах машинописи после войны, когда я полагал, что стану предпринимателем.

Потом я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Ирония влетает ей в одно ухо и вылетает в другое, особенно в вопросах личной жизни, но я все же сделал попытку.

— Мои уши широко открыты, — сказал я.

— Я ведь так и не рассказала тебе, что Эйб записал прямо перед смертью? — спросила она.

— Так и не рассказали, — подтвердил я.

— Я как раз размышляла над этим, в первый день — когда ты пришел на пляж.

— Понятно, — сказал я.

В последние дни перед смертью ее муж-нейрохирург не мог уже разговаривать. Все, что он мог — это писать короткие реплики левой рукой, хотя всю жизнь он был правой. Из всего тела только левая рука его еще как-то слушалась.

И вот как, по словам Цирцеи, выглядело его последнее сообщение: «Я чинил радио».

— Или его собственный поврежденный мозг принимал это за буквальную истину, — сказала она, — или же он пришел к выводу, что мозги тех, кого он оперировал, представляли собой всего лишь приемники, получавшие сигналы из какого-то совершенно другого места. Я понятно объясняю?

— Вполне.

— Из маленькой коробочки под названием радио вылетает музыка, — сказала она, подошла ко мне и постучала костяшками пальцев по моей лысине, как стучат иногда по радиоприемнику, — но это же не значит, что внутри нее сидит оркестр.

— Так при чем здесь мой отец и Терри Китчен?

— Может быть, когда они вдруг занялись тем, чего никогда раньше не делали, и так сильно изменились — может быть, они просто начали принимать другую станцию, по которой передавали совсем другие понятия о том, что им говорить и что делать.

* * *

Я пошел и поделился этой теорией, «люди как всего лишь радиоприемники», с Полом Шлезингером, и он немного покрутил ее в голове.

— Так значит, на кладбище «Зеленый ручей» закопаны сдохшие приемники, — размышлял он, — в то время как передатчики, на волну которых они были настроены, так и продолжают вещать.

— Вроде того, — сказал я.

Он сказал, что сам он в таком случае последние двадцать лет принимает только эфирный шум, да иногда — что-то, похожее на прогноз погоды на каком-то иностранном языке, в котором он не может разобрать ни единого слова. Еще он сказал, что ближе к концу его супружеской жизни с Барбирой Менкен, актрисой, она начала вести

себя так, будто «носила стереонаушники, в которых давали "Увертюру 1812 года"³³».

— Это было как раз в то время, когда из милашки на сцене, на которую всем было исключительно приятно смотреть, она начала превращаться в настоящую актрису. Она даже перестала быть Барбарой. Вдруг, ни с того ни с сего, ее стали звать Бар-бу-ра³⁴!

Он сказал, что впервые узнал об изменении в ее имени во время слушания дела о разводе. Ее адвокат назвал ее «Барбира», и продиктовал судебной стенографистке это имя по буквам.

Потом в коридоре суда Шлезингер спросил ее:

— А куда делась Барбара?

Она ответила, что Барбара умерла!

— И за каким чертом тогда мы выбросили столько денег на адвокатов? — поинтересовался Шлезингер.

* * *

Я сказал, что нечто похожее я наблюдал, когда Терри Китчен впервые забавлялся с краскопультом, обстреливая красной нитроэмалью кусок старого строительного картона, который он прислонил к картофельному амбару. Вдруг, ни с того ни с сего, и он тоже стал человеком, у которого в наушниках играла замечательная радиостанция, мне совершенно недоступная.

Никакого другого цвета, кроме красного, у него тогда не было. Две банки красной эмали мы получили бесплатно в придачу к краскопульту, который купили в автомастер-

³³ Исключительно бравурная (в партитуре выписаны в том числе 16 пушечных выстрелов и колокольный звон) симфоническая пьеса создана Чайковским в 1880 году, в ознаменование годовщины битвы при Бородине, для исполнения при освящении храма Христа Спасителя в Москве, и не имеет никакого отношения к истории США – но тем не менее по традиции ежегодно исполняется на массовых торжествах в честь Дня Независимости.

³⁴ Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд изменила написание своего имени на «Барбра» после того, как роль в мюзикле «Для вас – по оптовой цене» принесла ей известность.

ской в Монтоке, двумя часами раньше. «Ты только посмотри! Ты *посмотри* только!» — повторял он после каждого зала.

— Он совсем уже собрался бросить попытки стать художником и поступить в адвокатскую контору своего отца, когда мы достали тот краскопульт, — сказал я.

— Барбира тоже совсем уже собралась бросить попытки стать актрисой и завести ребенка, — отозвался Шлезингер. — И тут ей дали роль сестры Тенниси Уильямса в «Стекланном зверинце»³⁵.

* * *

На самом деле, как я теперь вспоминаю, личность Терри Китчена претерпела радикальное изменение в тот самый момент, когда мы увидели выставленный на продажу краскопульт, а не позже, когда он напылил первые пятна красной краски на кусок картона. Приметил пульт я, и сказал, что он, скорее всего, из армейских излишков. Он был в точности такой же, как те, что мы использовали во время войны для маскировки.

— Купи мне это, — сказал он.

— Зачем тебе? — спросил я.

— Купи мне это, — повторил он. Ему этот краскопульт был теперь необходим, и это при том, что он даже и не догадывался бы, что это такое, если бы я ему не объяснил.

Собственных денег у него не было никогда, хотя он и происходил из старинной, обеспеченной семьи. А все деньги, которые были тогда при мне, должны были пойти на покупку кровати и колыбельки в тот дом, что я купил в Спрингс. Я перевозил семью, против их желания, из города на природу.

— Купи мне это, — повторил он.

И я сказал:

— Ладно, не волнуйся так. Ну, ладно, ладно.

³⁵ Считается, что трое из четверых персонажей этой пьесы (Том, его сестра Лора — собственно, владелица стеклянных фигурок — и их мать Аманда) являются портретами соответственно самого Уильямса и членов его семьи.

* * *

А теперь мы прыгаем в нашу старенькую машину времени и переносимся снова в 1932 год.

Злился ли я, что меня бросили на центральном вокзале? Да несколько. Я считал тогда, что Дэн Грегори — величайший художник на свете и, следовательно, во всем прав. Кроме того, мне придется извинить ему гораздо более неприятные вещи, чем то, что он не встретил меня с поезда, прежде чем я разделаюсь с ним, а он — со мной.

* * *

Что же помешало ему даже близко подойти к тому, чтобы стать великим художником, несмотря на великолепие техники, в которой ему не было и нет равных? Я очень много думал над этим вопросом, и любой ответ, который я могу предложить, относится в равной степени и ко мне. Технически я намного превосходил всех абстрактных экспрессионистов, но и из меня тоже ни шиша не вышло, и выйти не могло — и это даже не считая фиаско с «Атласной Дюра-люкс». Я написал множество картин до «Атласной Дюра-люкс» и некоторое количество после, и ни одна из них ни к черту не годилась.

Но оставим пока в стороне мои проблемы, и займемся работами Грегори. Они совершенно правдиво изображали физические объекты, но не время. Он был певцом момента, от первой встречи ребенка с ряженым Санта-Клаусом в универмаге до победы гладиатора на арене Колизея, от церемонии золотого костыля, связавшего две половины железной дороги через весь континент, до молодого человека, опустившегося на колени перед своей девушкой с предложением выйти за него замуж. Но ему не доставало храбрости, мудрости или же просто таланта показать, что время на самом деле течет, что каждый момент не более ценен, чем следующий, и что все они слишком быстро убегают в никуда.

Выражусь немного по-другому. Дэн Грегори был чувельником. Он набивал, покрывал лаком и приколачивал к стене самые, казалось бы, потрясающие моменты, и все они оказывались унылыми пыльными безделками, наподобие лосиной головы, купленной на дачной распродаже, или же меч-рыбы на стене в прихожей дантиста.

Ясно?

Выражусь еще немного по-другому. Жизнь, по определению, не может стоять на месте. Куда она движется? От рождения к смерти, без остановок. Даже миска груш на клетчатой скатерти течет и колышется, если нанесена на холст кистью мастера. И каким-то волшебным способом, тайну которого ни я, ни Дэн Грегори так никогда и не смогли постичь, но которым овладели лучшие из абстрактных экспрессионистов, на великих картинах всегда присутствуют жизнь и смерть.

Жизнь и смерть были и на том самом куске картона, который, казалось бы, случайным образом заляпал давным-давно Терри Китчен. Я понятия не имею, как он их туда всунул. Он, впрочем, тоже.

Я вздыхаю. «Эхма», говорит старик Рабо Карабекян.

И СНОВА 1933 год.

Я показал адрес Дэна Грегори полицейскому на Центральном вокзале. Он сказал, что это всего в восьми кварталах отсюда, и заблудиться по дороге невозможно, потому что эта часть города расчерчена на клетки, как шахматная доска. Вокруг была Великая Депрессия, и на вокзале было полно бездомных — так же, как и сейчас³⁶. Газетные заголовки сообщали об увольнениях, разоренных фермах, лопнувших банках — так же, как и сейчас. Все, что изменилось, насколько я понимаю — это что еще одну Великую Депрессию мы теперь можем при помощи телевидения скрыть. Не удивлюсь, если так уже скрыли Третью Мировую.

В общем, идти было недалеко, и вскорости я уже стоял перед дверью из цельного дуба, которую мой новый хозяин использовал для рождественской обложки журнала «Свобода». Массивные петли были покрыты ржавчиной. Никто не умел подделывать ржавчину и то, как она оседает на дубовой древесине, лучше, чем Дэн Грегори. Колотушка была сделана в форме головы горгоны, с волосами и ожерельем из переплетающихся змей.

По легенде, если взглянешь на горгону — сразу окаменеешь. Я рассказал сегодня об этом подросткам у моего бассейна. Они понятия не имели о том, что такое горгона.

³⁶ Бездомных на Центральном вокзале больше нет: в 1994 году здание было отдано в аренду формально частной компании - Нью-Йоркскому транспортному ведомству, которое вскорости запретило бездомным там ночевать.

Мне кажется, они не имеют понятия ни о чем, что не показывали на этой неделе по телевизору.

* * *

Как на обложке журнала, так и перед моими глазами на злобном лице горгоны и в складках между копошащимися змеями зеленели пятна патины. Никто не умел подделывать патину лучше, чем Дэн Грегори. На обложке колотушку окружал веночек из остролиста, но к тому времени, как я приехал, его уже сняли. Некоторые из листьев побурели по краям и покрылись пятнами. Никто не умел подделывать болезни растений лучше, чем Дэн Грегори.

Так вот, я приподнял горгону за тяжелое ожерелье и отпустил. Эхо от глухого удара разнеслось по прихожей, где и люстра, и парадная винтовая лестница тоже, как оказалось, были мне прекрасно знакомы. Я видел их на иллюстрациях к рассказу о невероятно богатой девушке, влюбившейся в семейного шофера. Кажется, рассказ напечатали в «Кольерз»³⁷.

Хорошо знакомым было и лицо человека, вышедшего на стук — лицо, но не имя, поскольку он служил моделью для многочисленных рисунков Грегори, в том числе и к рассказу о богатой девушке и шофере. Сам шофер и был срисован с него. В рассказе он спасает дело отца этой девушки, и это после того, как все вокруг, кроме нее самой, насмеяются над ним — поскольку он всего лишь шофер. Кстати, по этому рассказу поставлен фильм под названием «Вы уволены» — второй в истории, включавший в себя звук в дополнение к изображению. Первым таким фильмом был «Певец джаза»³⁸, главную роль в котором сыграл

³⁷ Еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся с 1888 по 1957 год; в каком-то смысле — предшественник современного «глянца». Воннегут в начале своей карьеры зарабатывал короткими рассказами, которые отсылал в «Кольерз» и ему подобные издания; такое писательство считалось низкопробным.

³⁸ Не совсем точно — «Певец джаза» (1927) с Элом Джолсоном был первым полнометражным фильмом, в котором звучали голоса актеров (записанные непосредственно при съемке; вторым таким фильмом была картина «Иде-

Эл Джолсон, бывший приятелем Дэна Грегори, пока они не разругались из-за Муссолини вечером того дня, когда я прибыл в город.

У вышедшего было отличное лицо для типажа американского героя. Он и в самом деле был летчиком во время Первой Мировой. Кроме того, он и в самом деле был помощником Дэна Грегори — в отличие от Мэрили Кемп, которая помощницей только назвалась, — и впоследствии стал единственным его другом, не бросившим его до самого конца.

Его тоже расстреляют в Египте, в мундире итальянской армии, во второй, а не первой из мировых войн, доставшихся на его долю.

Так говорит одноглазый армянский предсказатель, вперив взор в хрустальный шар.

* * *

— Чем могу служить? — спросил он.

Даже движением глаз он не выдал, что узнал меня, хотя ему было известно, кто я такой, и что я должен появиться у двери с минуты на минуту. Они с Грегори решили устроить мне холодный прием. Могу только догадываться, что они наговорили друг другу перед моим прибытием, но уверен, что представлялся я в их глазах нахлебником, которого Мэрили притащила с улицы, вором, который уже успел стянуть материалов на много сот долларов.

Они скорее всего также убедили друг друга, что ответственность за кувырки вниз по лестнице лежала полностью на самой Мэрили, и что Грегори страдал безвинно. Собственно, я сам верил в это до тех пор, пока она не рассказала мне правду, после войны.

Чтобы хоть как-то подтвердить свое право находиться на этом пороге, я спросил, где Мэрили.

— В больнице, — сказал он, по-прежнему стоя в проходе.

альное убийство», 1928). Фильмы с наложенным музыкальным сопровождением появились немного раньше.

— Ох, — сказал я. — Очень жаль.

И назвал ему свое имя.

— Я так и понял, — сказал он.

И даже после этого он не пригласил меня пройти в прихожую.

Тут сам Грегори, стоявший посреди парадной лестницы, осведомился, кто пришел, и человек в дверях, которого звали Фред Джонс, отозвался с таким отвращением, будто вместо слова «подмастерье» он произносил «глисты»:

— Ваш подмастерье.

— Кто-кто?

— Ваш подмастерье, — повторил Джонс.

Ответная реплика Грегори поднимала вопрос, над которым я и сам размышлял: в чем же смысл для художника иметь подмастерье в наше время, когда краски и кисти больше не нужно готовить прямо в мастерской?

Вот что он сказал:

— Подмастерье мне нужен примерно так же, как оруженосец или трубадур.

* * *

В его речи не было армянского или русского акцента, и американского тоже не было. Его акцент принадлежал представителю британского высшего общества. Но если бы Грегори захотел, он мог бы, глядя с парадной лестницы мимо меня на Фреда Джонса, заговорить как кинематографический гангстер или ковбой, как иммигрант из Германии, из Ирландии, из Швеции, да кто угодно, заранее не угадаешь. Никто не умел подделывать голоса с экрана, со сцены или из радиоприемника лучше, чем Дэн Грегори.

Издевательства, которые они так бережно подготовили, на этом только начинались. Время было еще не позднее. Грегори ушел к себе наверх, так и не удостоив меня приветствием, и Фред Джонс отвел меня в подвал, где мне был подан обед — холодные обеды в комнате для слуг, рядом с кухней.

Комната, собственно, была вполне уютная, обставленная антикварной американской мебелью и утварью, кото-

рую Грегори использовал в иллюстрациях. Длинный стол, сервант в углу, набитый оловянным литьем, и кремневый пистолет, который покоился на двух крючках, вогнанных в кладку грубоватого камина, мне были знакомы по рисунку, изображавшему праздник Благодарения в колонии пилигримов в Плимуте.

Меня усадили в конце стола. Вилки и ложки были свалены там грудой, а салфетки не было вовсе. Я навсегда запомнил, что салфетки там не было. В другом конце были безупречно накрыты пять приборов — льняные салфетки, хрусталь, фарфор, серебро аккуратно разложено, посередине подсвечник. У прислуги ожидался изысканный ужин, к которому подмастерье приглашен не был. Мне не полагалось ставить себя вровень с ними.

Разговаривать со мной никто из прислуги тоже не стал. Все относились ко мне так, будто я и в самом деле уличный бродяга. Более того, Фред Джонс ждал, когда я доем, нависая надо мной, как мрачный тюремщик.

Пока я ел, ощущая себя в таком одиночестве, в каком не оказывался за всю мою жизнь, в подвал зашел Сэм Ву, хозяин китайской прачечной³⁹, с чистыми рубашками для Грегори. Р-раз! Я опознал его в ту же секунду. Он был мне знаком! А стало быть, и я должен быть знаком ему! Только несколькими днями позже я понял, почему Сэм Ву показался мне знакомым, в то время как он, без сомнения, меня не знал. Этот облаченный в шелковый халат и прилегающую шапочку, униженно угодливый китаец послужил Дэну Грегори моделью для портрета самого зловещего книжного персонажа — воплощения «желтой угрозы», преступного гения Фу Манчу⁴⁰!

³⁹ «Золотая лихорадка» в Калифорнии и потребность в рабочих руках на прокладке трансконтинентальных железных дорог привели к массовой иммиграции в США из Китая во второй половине XIX века; когда золото иссякло, а дороги были построены, китайцы переселились в крупные города. Китайские прачечные вошли в поговорку — как, скажем, узбекские бригады строителей.

⁴⁰ Буквально «Маньчжур Фу», стереотипический персонаж американских приключенческих историй, «злостный гений», созданный в начале XX века писателем Артуром Уордом; рассказы о нем регулярно появлялись в том

Сэм Ву впоследствии служил поваром у Дэна Грегори, а потом вернулся в свою прачечную. Он и стал тем человеком, которому я отправлял картины, приобретенные во Франции.

Во время войны между нами завязались странные и в чем-то даже трогательные отношения. Я наткнулся на Сэма в Нью-Йорке перед самой отправкой, и он спросил у меня адрес моей полевой почты. По радио сказали, сообщил он мне, что солдатам бывает очень одиноко вдали от родины, и что им необходимо как можно чаще получать письма из дома. Я был единственным военным, которого он знал, и он решил посылать письма мне.

Весь взвод веселился по этому поводу, когда нам раздавали почту. «Как дела в китайском квартале?» — слышал я вечные шутки. «Что, от Сэма Ву ничего не пришло? Не иначе, как кто-то подсыпал яду ему в лапшу!». И так далее.

После окончания войны он отдал мне мои картины, и больше я его не видел. Вполне возможно, что он никогда ко мне особенно хорошо и не относился. Я для него представлял интерес исключительно в военное, а не в мирное время.

И снова 1933 год.

После гадостей за обедом я не удивился бы, если бы меня препроводили в чулан за отопительным котлом, сказав, что там я и буду спать. Однако я был отведен на третий этаж, в самую роскошную комнату из всех, которые доводилось занимать на этой земле Карабекьянам. Там я должен был ждать, пока у Грегори появится время принять меня — по расчету Фреда Джонса, около полуночи, примерно через шесть часов. Грегори давал званый ужин в гостиной,

же «Кольерз». «Фу Манчу» стало общепринятым названием для тонких, свисающих ниже гладко выбритого подбородка усов.

находившейся прямо под моей комнатой. Приглашены были, среди прочих, Эл Джолсон и комический актер Уильям Филдс, а также писатель Бут Таркингтон, чьи рассказы Грегори иллюстрировал бесчисленное количество раз. Никого из них я так и не встретил, потому что никто из них не появился больше в этом доме — после жестокой ссоры с Грегори по поводу Бенито Муссолини.

Что касается комнаты, куда меня поместил Джонс: это была подделка под спальню императрицы Жозефины авторства Дэна Грегори, уставленная подлинным французским антиквариатом. Она служила спальней для гостей, а не для Грегори и Мэрилы. Заточить меня в ней на шесть часов воистину было задумкой в высшей степени садистской. С одной стороны Джонс, с совершенно серьезным выражением лица, дал мне понять, что на время моего ученичества эта комната и станет моей спальней, как будто для человека столь низкого происхождения, как я, спать в таких хоромах было обычным делом. С другой стороны я не решался ни до чего в ней дотронуться. Для верности Джонс еще сказал мне: «Вести себя как можно тише и ничего не трогать».

Могло даже возникнуть впечатление, что они пытались от меня избавиться.

* * *

Я только что устроил Целесте и ее друзьям на теннисном корте небольшой опрос: «Скажите, когда жили следующие личности: Уильям Филдс, императрица Жозефина, Бут Таркингтон, Эл Джолсон».

Единственным, кого они угадали, был Филдс. Его старые ленты показывают иногда по телевизору.

Я упомянул здесь, что никогда не видел его, но тем вечером я прокрался из своей золоченой клетки на лестничную площадку и подслушал, как прибывали знаменитые гости. И я различил безошибочно узнаваемый гнусавый говорок Филдса, представлявшего Грегори женщине, пришедшей с ним: «А вот, красавица моя, и Дэн Грегори,

плод любовной связи индейца-недомерка и сестры Леонардо да Винчи».

* * *

Я пожаловался вчера за ужином Шлезингеру и мадам Берман, что современная молодежь, похоже, пытается прожить жизнь, как можно меньше обременяя себя информацией.

— Они не знают ничего о войне во Вьетнаме, не знают, кто такая императрица Жозефина или что такое горгона, — сказал я.

Мадам Берман выступила в их защиту. Она заметила, что бороться с войной во Вьетнаме уже слегка поздно, а получить представление о могуществе полового влечения и последствиях тщеславия есть способы и поинтереснее, чем изучать какую-то женщину, жившую в другой стране сто семьдесят пять лет назад.

— Что же до горгон, — сказала она, — то единственное, что необходимо знать о них — это что их *не бывает*.

Шлезингер, по-прежнему считавший ее полуграмотной, изящнейшим образом бросил ей свысока:

— Как говорил философ Джордж Сантаяна, «те, кто не помнит своего прошлого, обречены повторять его».

— Да не может быть, — сказала она. — Передайте вашему Сантаяне, что мы и так, и так обречены повторять прошлое. Так устроено все живое. Надо быть на редкость тупым ребенком, чтобы к десяти годам до этого не дойти.

— Сантаяна был знаменитым профессором в Гарварде, — сказал Шлезингер, выпускник Гарварда.

— Мало кто может позволить себе пойти в Гарвард, чтобы ему там морочили мозги, — сказала мадам Берман.

* * *

Во вчерашней «Нью-Йорк Таймс» я наткнулся на фотографию французского секретера ампир, ушедшего с молотка к какому-то кувейтцу за три четверти миллиона, и

готов поклясться, что в 1933 году этот секретер стоял у Грегори в комнате для гостей.

В этой комнате имелись два анахронизма, оба — произведения самого Грегори. Над камином висела иллюстрация к «Робинзону Крузо», к тому моменту, где потерпевший крушение рассказчик находит человеческий след на острове, на котором он полагал себя единственным обитателем. А над секретером находилась иллюстрация к тому моменту, где Робин Гуд и Малютка Джон, еще не ставшие лучшими друзьями, встречаются посередине бревна, переброшенного через ручей. У них в руках по шести, и ни один не желает отступить, чтобы позволить другому попасть туда, куда ему так хочется попасть.

Робин Гуду, естественно, приходится искупаться.

Я ЗАСНУЛ в той комнате на полу. Не мог же я, в самом деле, смять постель или дотронуться до чего-нибудь. Мне снилось, что я вернулся в вагон поезда, слышал снова и *тук-тук, тук-тук*, и *гинь-гинь-гинь*, и *ту-ту-у*. *Динь-гинь-гинь* исходило, разумеется, не от самого поезда, а от сигналов на переездах, предупреждавших, что всякий, кто не уступит нам дорогу, будет разметан в мелкие клочья. Так им и надо! Кто они — и кто мы!

Многие из тех, кто переживал, уступая нам дорогу, чтобы избежать смерти, были фермерами с семьями. Весь их скарб был привязан кое-как к кузовам побитых грузовичков. Ураганы и лопнувшие банки отобрали у них фермы так же безжалостно, как отобрали ту же самую землю у индейцев кавалерийские полки во времена их дедов. И где же они теперь, эти снесенные ветром фермы? Кормят рыбу на дне Мексиканского залива⁴¹.

Этих побежденных белых индейцев на переездах я видел не в первый раз. Достаточно их прошло через Сан-Игнасио, и все спрашивали у меня, у моего отца, и даже у непроницаемых лицом индейцев лума, не знаем ли мы кого-нибудь, кому нужен был бы кто-нибудь для какой-нибудь работы.

⁴¹ Имеется в виду так называемый «Пыльный Котел» – период жестоких пыльных бурь, последовавших за чередой засух на юге центральных штатов в начале 30-х годов XX века. Массовое распахивание целинных земель вызвало эрозию; устойчивые западные ветры собирали верхний слой пересохшей почвы в огромные черные облака и переносили в сторону Атлантического океана.

От моего железнодорожного сна меня пробудил в полночь Фред Джонс. Он сказал, что господин Грегори готов меня принять. Он нисколько не удивился, что я сплю на полу. Когда я открыл глаза, прямо перед моим носом находились носки его туфель.

Обувь всегда играла важную роль в истории благородного рода Карабекианов.

* * *

Фред доставил меня к подножию лестницы, с которой слетела Мэрили и которая должна была привести меня к порогу святая святых — мастерской. Подниматься мне полагалось в одиночку. Там, наверху, было темно. Ничего не стоило представить себе там, наверху, виселицу с петлей, свисающей над откидной дверцей.

И я пошел вверх. Я остановился на последней ступеньке, и глазам моим предстала картина, противоречащая здравому смыслу: шесть каминов с трубами, ни к чему не прикрепленных, в каждом из которых мерцали угли.

Сейчас объясню, что там произошло с архитектурной точки зрения. Дело в том, что Грегори купил три подъезда в обычном нью-йоркском кирпичном доме длиной в квартал, каждый шириной в три окна и высотой в четыре этажа, пятьдесят футов в глубину, два камина на каждом этаже. Я-то думал, что ему принадлежал только подъезд с дубовой дверью и колотушкой в форме горгоны, подернутой патиной. Так что вид, открывающийся с площадки верхнего этажа, застал меня врасплох — он нарушал все законы пространства и времени, он длился и длился. На нижних этажах и в подвале Грегори соединил подъезды, прорезав двери и проходы с арками. Но на верхнем этаже он снес разделяющие стены полностью, от фасада назад и во все стороны, и оставил только эти шесть отдельно стоящих каминов.

* * *

Ночь была освещена этим шестикратным повторением тлеющих углей, да чередующимися бледными полосами на потолке. Полосы получались оттого, что девять окон, выходящих на Сорок Восьмую улицу, разрезали свет уличных фонарей на ленточки.

Где же был сам Дэн Грегори? Я сперва не заметил его. Он сидел молча, без движения, сторбившись на верблюжьем седле перед центральным камином, был всего лишь бесформенным пятном в просторной черной кофте, футах в двадцати от меня. Прежде чем я понял, где он находится, мой взгляд упал на содержимое каминной полки над ним. Эти предметы выделялись в пещере своей белизной. Там стояли восемь человеческих черепов, октава, выстроенная по размеру, от детского на одном конце до старческого на другом — каннибальский ксилофон.

Музыка там в каком-то смысле тоже присутствовала, утомительная fuga на тазах и кастрюлях, подставленных под застекленный люк в потолке, по правую руку от Грегори. На люке лежала шапка тающего снега.

* * *

«Плх-плюх». Тишина. «Кап-кап». Тишина. «Плюх». Тишина. Так звучала песня заснеженного люка, а глаза мои в это время обшаривали то произведение Дэна Грегори, которое без колебаний можно назвать шедевром — собственно эту мастерскую, единственный пример потрясающей оригинальности с его стороны.

Простое перечисление оружия, инструментов, идолов, икон, шляп, шлемов, моделей кораблей и аэропланов, чуел — включая крокодила и белого медведя, поднявшегося на задние лапы, — уже поражало воображение. Но вот вам еще, например: этот шедевр содержал пятьдесят два зеркала всех мыслимых времен и форм, висящих порой в неожиданных местах и под дикими углами, умножая озадаченного наблюдателя до бесконечности. Дэн Грегори был скрыт от меня, стоявшего на верхней ступеньке, но сам я смотрел на себя отовсюду!

Я знаю, что зеркал было ровно пятьдесят два, потому что на следующий день я их пересчитал. Некоторые из них мне полагалось начищать еженедельно. Попытка стереть пыль с других каралась, если верить моему мастеру, *смертью*. Никто не умел подделывать изображения в пыльных зеркалах лучше, чем Дэн Грегори.

Наконец он заговорил, и немного расправил плечи, так что я увидел, где он сидит. Вот что он сказал:

— Меня также нигде и никогда не привечали.

Он снова употребил британский акцент — единственный, который он использовал, когда говорил серьезно. Потом он сказал:

— И то, что все были со мной так неприветливы, а мой мастер ни во что не ставил меня, пошло мне на пользу. Смотри, кем я стал.

* * *

Он сказал, что его отец, который занимался выездкой лошадей, едва не убил его в младенчестве, потому что не мог выносить его плача.

— Стоило мне начать плакать, как он делал все возможное, чтобы я немедленно перестал. Он и сам был всего лишь ребенком. Об этом сложно помнить, когда думаешь об отце. Сколько тебе лет?

Первое слово, которое я сказал ему:

— Семнадцать.

* * *

— Когда я родился, мой отец был только на год старше тебя, — сказал Дэн Грегори. — Если ты прямо сейчас примешься совокупляться, то к восемнадцатилетию и у тебя будет орущий младенец, посреди большого города и вдали от дома. Ты ведь, наверное, собираешься поразить этот город своим искусством? Так вот, мой отец собирался поразить Москву выездкой лошадей. Очень скоро он узнал, что все коннозаводство в Москве прибрали к рукам поляки, и что наивысшим его достижением, независимо от

его талантов, может стать должность младшего помощника конюшего. Он утащил мою мать, которой было всего шестнадцать, от ее родни и от единственной знакомой ей жизни, наобещав ей, что в Москве к ним сразу же придет известность и богатство.

Он встал и повернулся ко мне. Я не сдвинулся с верхней ступеньки. Новые резиновые набойки на каблуках, которые я поставил на свои потрескавшиеся башмаки, нависали над пустотой, настолько мне не хотелось сделать даже полшага вперед, в этот умопомрачительно сложный, отраженный зеркалами мир.

Кофта Грегори была черной, поэтому видны были только его голова и руки. Голова сказала мне:

— Я был рожден на конюшне, как Христос, и я плакал, вот так.

Из его горла вырвалась душераздирающая подделка плача брошенного ребенка, которому ничего не остается, как кричать и кричать.

У меня волосы встали дыбом.

ДЭНА ГРЕГОРИ, или Дана Григоряна, как звали его в Старом Свете, избавила от родителей, когда ему было лет пять, жена художника по фамилии Бескудников, резчика печатных форм для государственных облигаций и банковских билетов на императорском монетном дворе. Любовь тут была ни при чем. Для нее он был всего лишь паршивым бродячим зверьком в большом городе, но ей неприятно было смотреть, как над ним издеваются. Поэтому она поступила с ним точно так же, как поступала до того с бродячими кошками и собаками, которых приносила в дом — отдала в людскую, чтобы его там вымыли и вырастили.

— Для ее слуг я стал тем же, чем стал ты для моей прислуги, — сказал мне Грегори. — Им прибавилась еще одна обязанность, лишняя работа, как выгребание золы из печей, чистка ламповых стекол и выбивание ковров.

Он рассказал мне, что быстро сообразил, как выживали в доме кошки и собаки, и стал повторять за ними.

— Звери проводили все время в мастерской Бескудникова, на заднем дворе, — сказал он. — Подмастерья и ремесленники ласкали и подкармливали их, и меня вместе с ними. Но я мог еще кое-что, на что остальные животные были *не способны*. Я выучил те языки, которые звучали в мастерской. Сам Бескудников получил образование в Англии и Франции, и ему нравилось давать своим подручным приказы на том или другом из этих языков и требовать, чтобы его понимали. Очень скоро я стал приносить пользу в качестве переводчика. Я пересказывал им в точности, что сказал мастер. Русский и польский я уже знал от прислуги.

— И армянский, — подсказал я.

— Нет, — сказал он. — У своих пьяных родителей я научился только орать, как ишак и трещать, как мартышка — и огрызаться, как волк.

Дальше он рассказал, как обучился всем ремеслам, которыми занимались в мастерской, и приобрел, так же, как и я, сноровку ухватывать в наброске сносное подобие любого лица, фигуры или предмета.

— В десять лет и я стал подмастерьем. Когда мне исполнилось пятнадцать, — продолжал он, — ни у кого не оставалось сомнений в моей гениальности. Бескудников почуял опасность и назначил мне задание — по общему мнению невыполнимое. Он пообещал перевести меня в ремесленники, если я нарисую от руки, с обеих сторон, бумажный рубль, который обманул бы зорких купцов на базарной площади.

Он ухмыльнулся.

— А фальшивомонетчиков в те дни, — сказал он, — наказывали публично. На виселице, на той же самой базарной площади.

Юный Дан Григорян потратил шесть месяцев и произвел, по его собственным словам и по мнению ремесленников в мастерской, точную копию. Бескудников объявил его усилия смехотворными и порвал бумажку в клочья.

Григорян сделал вторую копию, еще лучше. На это ушло еще шесть месяцев. Бескудников заявил, что эта — хуже первой, и кинул ее в огонь.

Тогда Григорян, проработав на этот раз целый год, нарисовал еще одну, самую лучшую из всех. Разумеется, все это время он продолжал выполнять всю положенную ему работу в мастерской и по дому. Однако, закончив третью подделку, он спрятал ее в карман. Бескудникову

вместо этого он предъявил настоящий рубль, который служил ему образцом.

Как он и ожидал, старик поднял на смех и эту работу. Но прежде чем Бескудников успел ее уничтожить, Григорян выхватил бумажку из его рук и выбежал на площадь. На настоящий рубль он купил коробку папирос, бросив при этом табачнику, что рубль у него от Бескудникова, резчика на императорском монетном дворе, и, следовательно, не может не быть подлинным.

Когда мальчишка вернулся с папиросами, Бескудников пришел в ужас. Он никогда не предполагал, что подделка в самом деле будет потрачена на базаре. Оборот он упомянул только как мерку успеха. Глаза у него выкатились, он потел и задыхался. Он был, в сущности, порядочным человеком, позволившим ревности затуманить его суждение. Этот рубль — кстати, его собственное творение — ему протянул подмастерье, и потому купюра в самом деле оказалась ему фальшивой.

Что же старику оставалось делать? Табачник несомненно распознает подделку, а откуда она у него, он наверняка запомнил. А дальше? Закон есть закон. Главный императорский резчик и его подмастерье будут болтаться рядом на площади в базарный день.

— Надо отдать ему должное, — сказал мне Дэн Григори. — Я никогда ему не забуду, что он решил собственноручно вернуть смертоносный, как он считал, листок бумаги. Он потребовал у меня тот рубль, с которого я срисовывал копию. Я, разумеется, выдал ему свою безупречную подделку.

* * *

Бескудников напел табачнику, что рубль, потраченный его подмастерьем на папиросы, был для него чрезвычайно дорог как память. Табачнику все это было безразлично, и он обменял подлинную купюру на фальшивку.

Сияющий старик вернулся в мастерскую. Не успев войти, впрочем, он объявил, что задаст Григоряну такую трепку, какой тот еще не видывал. До того дня Григорян

всегда послушно принимал побои, как и надлежало порядочному подмастерью.

На этот раз мальчишка отбежал немного в сторону, повернулся и принялся смеяться над своим мастером.

— Как ты смеешь теперь смеяться? — вскричал Бескудников.

— Над тобой я смею смеяться и теперь, и до конца моей жизни, — отозвался подмастерье. Он рассказал историю подлинного рубля и своей подделки. — Не осталось больше ничего, чему я мог бы научиться у тебя. Я превзошел тебя по всем статьям. Моя гениальность заставила резчика императорского монетного двора подсунуть купцу на базаре поддельный рубль. Только если нам суждено будет все же стоять бок о бок на базарной площади с петлями на шеях, я повинюсь перед тобой. Вот какие мои слова станут тогда последними на этой земле: «Что ж, признаюсь. Я не был настолько талантливым, каким себя считал. Прощай же, прощай, жестокая жизнь».

САМОУВЕРЕННЫЙ мальчишка Дан Григорян покинул мастерскую Бескудникова в тот же день, и без труда занялся, уже ремесленником, к другому художнику, мастеру гравировки и шелкографии, который делал плакаты для театров и иллюстрации к детским книжкам. Подделка его так и не вскрылась — или, по крайней мере, никто не проследил ее появление к нему или Бескудникову.

— И, разумеется, Бескудников никому не рассказывал, — сказал он мне, — об истинной причине того, что он и его самый многообещающий подмастерье решили расстаться.

* * *

Он заявил, что делает мне одолжение, обходясь со мной так неприветливо.

— А поскольку ты уже гораздо старше, чем был я, когда я превзошел Бескудникова, — продолжал он, — следует также, не теряя времени, подобрать для тебя задание, сравнимое с перерисовыванием рубля от руки.

Он сделал вид, что размышляет, выбирая одну работу из множества, но я не сомневаюсь, что на самой дьявольски сложной из них он остановился задолго до моего прибытия.

— А! — воскликнул он. — Нашел! Ты поставишь мольберт примерно там, где сейчас стоишь. А потом ты изобразишь эту комнату — так, чтобы твою картину нельзя было отличить от фотографии. Справедливо, как ты считаешь? Надеюсь, что нет.

Я сглотнул.

— Никак нет, — сказал я. — Совсем не справедливо.

Тогда он сказал:

— Превосходно!

* * *

Я только что съездил в Нью-Йорк, впервые за два года. Цирцея Берман решила, что я должен это сделать, причем в одиночку — чтобы доказать самому себе, что я совершенно здоров, не нуждаюсь ни в чьей помощи, не являюсь ни в каком смысле немощным. Сейчас середина августа. Она здесь уже два месяца с небольшим — а стало быть, уже два месяца, как я пишу эту книгу!

Она уверяла меня, что в Нью-Йорке я найду источник вечной юности, стоит мне пройтись по местам, знакомым с тех времен, когда я только что приехал из Калифорнии.

— Твои мышцы расскажут тебе, что они почти не потеряли упругости с тех пор, — сказала она. — А твой мозг, если ты не будешь ему мешать, с радостью напомнит тебе, каким дерзким и взволнованным он тогда был.

Звучало убедительно. Но знаете, что? Она готовила мне западню.

* * *

Ее пророчество даже исполнялось какое-то время, хотя ей и было совершенно наплевать, каково мне будет со всем тем, что она мне наобещала. Все, что ей было нужно — это убрать меня отсюда ненадолго, пока она наведет свой порядок на моей собственности.

По крайней мере она не взломала амбар, хотя вполне могла бы, вооружившись достаточным количеством времени, топором и монтировкой. За топором и монтировкой нужно было всего лишь зайти в бывшую конюшню.

* * *

Я и в самом деле почувствовал себя снова дерзким и способным на все, повторив путь от Центрального вокза-

ла⁴² к кирпичному дому, три подъезда которого выкупил для себя Дэн Грегори. Я уже знал, что их снова разделили. Разделили их примерно тогда, когда умер мой отец, за три года до вступления Америки в войну. В которую из войн? Да в Пелопонесскую, конечно же. Что, никто, кроме меня, не помнит Пелопонесскую войну?

* * *

Начнем еще раз.

Жилище Грегори снова стало тремя отдельными подъездами вскоре после того, как он, вместе с Мэрили и Фредом Джонсом, отбыл в Италию, чтобы принять участие в грандиозном социальном эксперименте, затеянном Муссолини. Хотя и ему, и Фреду к тому времени было уже за пятьдесят, они подали прошение на имя самого Муссолини, и получили от него соизволение на то, чтобы наряжаться в форму пехотных офицеров итальянской армии, без каких-либо знаков различия, и изображать на картинах эту армию в действии.

Они погибли почти в точности за год до вступления Америки в войну — кстати, не только против Германии, Японии и прочих, но и против Италии. Их убили седьмого декабря 1940 года близ египетского селения Сиди-Баррани. Как сообщает мне «Британская энциклопедия», тридцать тысяч англичан смяли в битве при Сиди-Баррани восемьдесят тысяч итальянцев, захватив сорок тысяч пленных и четыреста стволов.

Под захваченными стволами энциклопедия имеет в виду не ружья и не пистолеты. Она имеет в виду здоровенные артиллерийские орудия. А учитывая, что Грегори и

⁴² Пригородные поезда с Лонг-Айленда прибывают на другой вокзал (Penn Station), чем экспресс «XX век» в 30-х (Grand Central; теперь все поезда дальнего следования также переведены на Penn Station). Единственное, как Рабо мог «повторить свой путь» — это если бы он из сентиментальных соображений прошел мимо Центрального вокзала по дороге от Пенсильванского (угол 8-й Авеню и 34-й улицы) к дому Грегори (на 48-й улице между 3-й и 2-й Авеню, судя по ранее указанным «8 кварталам» от вокзала).

его приятель Джонс были помешаны на всякого рода оружии, необходимо отметить здесь, что прикончили их танки «Матильда», пулеметы «Стэн» и «Брэн», а также винтовки «Энфилд» с примкнутыми штыками.

* * *

Почему же Мэрили уехала в Италию вместе с Грегори и Джонсом? Потому что она любила Грегори, а он любил ее.

Проще некуда, мне кажется.

* * *

Самый восточный из трех подъездов, принадлежавших когда-то Грегори, как я обнаружил только что во время своего недавнего путешествия в Нью-Йорк, является теперь дипломатической миссией и резиденцией делегации Салибарского эмирата в Организации Объединенных Наций⁴³. Я никогда в жизни не слышал о Салибарском эмирате, и моя «Британская Энциклопедия» тоже о нем не знает. Там есть только статья о пустынном оазисе Салибар, где проживает одиннадцать тысяч человек — примерно как в Сан-Игнасио. Цирцея Берман считает, что мне давно пора обзавестись новой энциклопедией, и парочкой новых галстуков заодно.

Большая дубовая дверь на тяжелых петлях все еще на месте, только колотушки в форме горгоны на ней больше нет. Горгону Грегори забрал с собой в Италию, и я встретился с ней на парадной двери палатцо Мэрили во Флоренции, после войны.

Теперь она, наверное, переехала еще куда-то, потому что любимая Италией, и мной, контесса Портомаджоре

⁴³ В настоящее время почти весь этот дом (да и значительная часть примыкающих улиц этого района Нью-Йорка, известного как Turtle Bay, Черепашня Бухта — хотя, как Воннегут отмечает в предисловии к роману *Slapstick*, там нет ни черепашек, ни бухты) занят резиденциями дипломатов. Комплекс ООН находится всего в двух кварталах к востоку.

умерла естественной смертью, во сне, в ту же самую неделю, что и любимая мной Эдит.

Та еще неделька случилась у старика Карабекяна.

* * *

Средний подъезд разделили на пять квартир, по одной на этаж. Это я вычислил по почтовым ящикам и кнопкам от звонков в прихожей.

Только не говорите при мне о прихожих! Впрочем, об этом — чуть позже! Всему свое время.

* * *

В среднем подъезде находились раньше комната для гостей, в которую меня заточили по приезду, парадная зала прямо под ней, библиотека еще ниже, и склад художественных принадлежностей в подвале. Меня-то, собственно, интересовал скорее самый верхний этаж, который был частью мастерской, под огромным протекающим люком в потолке. Я хотел выяснить только, все ли еще в крышу был врезан этот люк, и если да, то сумели ли новые хозяева его законопатить, или же тазы под ним до сих пор исполняли минималистическую музыку после каждого дождя или снегопада.

Но спросить было некого, и я этого так и не узнал. Так что тут в сюжете зияет прореха, дорогой читатель. Я этого так и не узнал.

А вот и другая. Подъезд еще дальше к западу, опять же судя по звонкам и почтовым ящикам, был разделен на две квартиры, вероятнее всего трехэтажную внизу и двухэтажную над ней. Именно эту треть владений Грегори населяла его прислуга, и здесь же выделили небольшую, но уютную спальню и для меня. Комната Фреда Джонса, кстати, примыкала прямо к спальне Грегори и Мэрили, в Салибарском эмирате.

* * *

И из этого подъезда с двумя квартирами вышла женщина, старая и дряхлая, но державшаяся очень прямо. Без всякого сомнения, когда-то она была красавицей. Я вгляделся в нее, и у меня в голове вспыхнул магний. Я ее узнал, хотя она меня не знала. Мы никогда не встречались. Еще через секунду всплыло и имя — Барбира Менкен, бывшая супруга Пола Шлезингера. Он уже много лет как не общался с ней, и понятия не имел, где она живет. Она очень давно не играла ни в кино, ни в театре, и все же это была именно она. Грета Гарбо и Кэтрин Хэпберн живут в том же районе⁴⁴.

Я с ней не заговорил. Думаете, нужно было заговорить? И что бы я ей сказал? «У Пола все в порядке, передает привет»? Или, может быть, вот что: «Расскажите мне, как умерли ваши родители»?

* * *

Ужинал я в клубе «Столетие». Я уже много лет принадлежу к нему⁴⁵. Управляющий там сменился, и я спросил у него, что стало с прежним, по имени Роберто. Он ответил, что Роберто попал под мотоцикл курьера, несшегося против движения по односторонней улице, прямо перед дверью клуба.

Я сказал, что мне очень жаль, и он со мной полностью согласился.

Никого из своих знакомых я там не увидел, что неудивительно, поскольку все мои знакомые умерли. Зато я подружился в баре с одним писателем, намного младше

⁴⁴ Угол 49-й улицы и Второй Авеню носит имя Хэпберн, в то время как углу Второй авеню и 48-й улицы скоро может быть присвоено имя самого Воннегута. Дело в том, что он долго жил именно в этом квартале, в доме 228 (напротив резиденции Грегори), и часто сидел на одной из скамеек в небольшом сквере на углу; местная ассоциация домовладельцев также собирается установить на этом месте памятную доску.

⁴⁵ Клуб "Century", вернее, общество писателей и художников "Century", владеющее клубным помещением на Сорок Третьей улице в Нью-Йорке, обладает чрезвычайно строгими критериями приема. Сам Воннегут стал его членом незадолго до выхода в свет «Синей Бороды».

меня. Он, как и Цирцея Берман, пишет романы для молодежи. Я спросил его, слышал ли он когда-нибудь такое имя — Полли Мэдисон, а он спросил меня, слышал ли я когда-нибудь такое название — Атлантический океан.

Так что мы поужинали вместе. Он рассказал мне, что его жена уехала куда-то с лекцией. Она у него была знаменитым сексологом.

Тогда я со всей возможной деликатностью осведомился у него, не испытывает ли он каких-либо особенных затруднений в постели с женщиной, столь искушенной в любовных играх. На что он, прикрыв глаза, ответил, что я попал своим вопросом прямо в яблочко.

— Мне *непрерывно* приходится уверять ее, что я ее в самом деле люблю, — сказал он.

* * *

Остаток вечера я провел без приключений, в номере отеля «Алгонкин» перед телевизором, по которому крутили порнографию. Смотрел я очень невнимательно, вполглаза.

Я собирался уехать из города на поезде на следующий день, но за завтраком встретил еще одного жителя Ист-Хэмптона, по имени Флойд Померанц. Он тоже отправлялся домой, и предложил подбросить меня в своем лимузине. Я с готовностью принял приглашение.

Удивительной приятности способ передвижения! В этом «Кадиллаке» было еще уютнее, чем в утробе. Скорый «XX век» был, как я уже упоминал, чем-то похож на утробу — постоянное движение и странные звуки, приходящие снаружи. Но «Кадиллак» напоминал *гроб*. Я и Померанц ехали, как два *покойника*. К черту все эти младенческие ассоциации. Мы так удобно устроились, вдвоем в одном обширном, шикарном гробу. Всех, кто только может себе это позволить, надо хоронить вместе с кем-нибудь еще. С кем угодно еще.

* * *

Померанц болтал о своей разбитой жизни, о том, как ему придется подбирать и склеивать ее осколки. Они с Цирцеей Берман одногодки, ему тоже сорок три. Тремя месяцами раньше он получил одиннадцать миллионов за то, что освободил пост президента одного из телеканалов.

— Большая часть моей жизни еще впереди, — сказал он.

— Да, — сказал я. — Похоже на то.

— Как вы думаете, я еще могу успеть стать художником? — спросил он.

— Это никогда не поздно, — ответил я.

* * *

Я знал, что до этого он уже узнавал у Пола Шлезингера, успеет ли он стать писателем. Он считает, что читателям будет интересно узнать его точку зрения на то, как с ним обошлись на телеканале.

Шлезингер говорил потом, что надо бы придумать какой-то способ убедить всех этих померанцев, от которых в округе нет никакого прохода, что высосанного ими из экономики должно быть им уже более чем достаточно. Он предложил выстроить почетный зал богатства и уставить его статуями — специалисты по арбитражным операциям, по захвату контрольных пакетов, по размещению рискованных вкладов, разнообразные банковские посредники, всевозможные обладатели золотых авансов и платиновых выходных пособий, — рядом, в нишах, а на постаментах указывать полные данные, сколько миллионов они законным образом украли и сколько времени им на это понадобилось.

Я спросил у Шлезингера, попаду ли я в почетный зал богатства. Поразмыслив немного, он пришел к выводу, что в каком-то почетном зале место мне найдется, но деньги пришли ко мне в результате случайного стечения обстоятельств, а не моей собственной алчности.

— Твое место — в почетном зале дурацкого везения, — объявил он. Сначала он собирался открыть его в

Лас-Вегасе или Атлантик-Сити⁴⁶, но потом передумал. — На Клондайке, вот где, — сказал он. — Чтобы до статуи Рабо Карабекяна в почетном зале дурацкого везения надо было добираться на собачьих упряжках. Или на снегоступах.

Ему как нож острый, что я владею долей в «Бенгальских Тиграх», а мне на это наплевать. Он — ярый болельщик.

⁴⁶ Оба города – центры игорного бизнеса (практически на всей территории США, кроме штата Невада, в котором находится Лас-Вегас, и узкой полосы океанской набережной в Атлантик-Сити, азартные игры на деньги запрещены).

ТАК ВОТ, ШОФЕР Флойда Померанца высадил меня у самого начала вымощенной камнем дорожки к моему дому. Я выпростался из нашего совместного гроба, ослепленный заходящим солнцем, как граф Дракула. Ощупью добрался я до входной двери и открыл ее.

Сначала я опишу вам прихожую, которую с полным правом ожидал увидеть. Стены ее должны были быть выкрашены неяркой белой краской, как и все остальные вертикальные поверхности во всем доме — исключая подвал и флигель прислуги. Прямо напротив входа мне должен был открываться вид на картину Терри Китчена «Потайное окно», как на вертоград Христов. По левую руку — Матисс, женщина с черной кошкой на руках на фоне кирпичной стены, увитой желтыми розами⁴⁷. Милая Эдит совершенно честно выкупила ее у музея, чтобы сделать мне подарок на пятую годовщину свадьбы. Справа должно было висеть полотно Ганса Гофмана, которое Терри Китчен получил от Филиппа Густона в обмен на одну из своих картин, а потом отдал мне — потому что я оплатил замену коробки передач на его «Бьюике» цвета детской неожиданности, с откидной крышей.

* * *

Если вам нужны подробности об этой прихожей, откопайте номер журнала «Строительство и отделка» за

⁴⁷ У Матисса есть картина, на которой изображена девушка с черной кошкой на коленях, но не на фоне кирпичной стены, и без роз.

февраль 1981 года. Прихожая попала на обложку, на фотографии — вид через открытую дверь с мощеной дорожки, которую тогда обрамляли по обеим сторонам кусты дикой розы. Главная статья номера превозносила весь мой дом как непревзойденный экземпляр отделки здания, выстроенного в викторианском стиле, под коллекцию современного искусства. О собственно прихожей сказано вот как: «Картины, развешанные в прихожей дома Карабеяна, могли бы стать основой постоянной экспозиции небольшого музея современного искусства, но, при всем своем великолепии, служат всего лишь закуской перед последующим невероятным богатством блюд — шедевров, которые ожидают посетителя на стенах высоких комнат, выдержанных в строгом белом тоне».

Думаете, это я, великий Рабо Карабеян, устроил столь счастливый союз между старым и новым? Нет. Все сделала милая Эдит. Это она решила, что мне пора вернуть со склада мою коллекцию. В конце концов, этот дом передавался в ее семье из поколения в поколение, и был для нее наполнен воспоминаниями не только о счастливом детстве, проведенном здесь на летних каникулах, но и о первом браке, весьма удачном. Когда я переехал сюда из амбара, она спросила, как я себя чувствую в столь старомодной обстановке. Я совершенно искренне, от всей души ответил, что мне нравится все, как оно есть, и что на мой счет ничего менять ни в коем случае не нужно.

Так что Господь свидетель — это *Эдит* наняла рабочих, которые содрали все слои обоев до самой штукатурки, сняли хрустальные люстры, установив вместо них прожекторы на полозьях, и выкрасили все дубовые плинтуса, перемычки, дверные и оконные рамы, и все стены в сплошной матово-белый цвет!

Когда работа была закончена, она словно помолодела на 20 лет. Она сказала, что едва не сошла в могилу, так и не открыв в себе талант к ремонту и отделке. А потом она объявила:

— Звони перевозчикам со склада «Мой милый дом», — в чьих стенах моя коллекция покоилась уже многие годы.

— И пусть они вынесут на свет все твои прославленные полотна, и пусть скажут им: «Пора возвращаться *домой!*».

* * *

Когда же я вошел в свою прихожую после поездки в Нью-Йорк, то передо мной предстала картина столь ужасающая, что, клянусь честью, я сразу же представил себе визит маньяка-убийцы с топором. Я не шучу! Мне казалось, что везде, куда ни посмотри — пятна запекшейся крови! Прошла целая минута, прежде чем я понял, что меня окружает: обои с огромными алыми розами на черном фоне, каждая — с кочан капусты, рамы и плинтуса цвета детской неожиданности, а также шесть хромолитографий с девочками на качелях, обрамленных в пунцовый бархат, в золоченых рамах, весивших не меньше, чем лимужин, доставивший меня на порог этого кошмара.

Я, кажется, закричал. Говорят, что я закричал. Что же я кричал? Мне потом рассказали, что я кричал. Я сам этого не слышал, слышали только окружающие. Когда кухарка с дочерью, прибывшие вниз первыми, примчались на шум, вот что я кричал, по их словам, повторяя все время одну и ту же фразу:

— Я ошибся домом! Я ошибся домом!

Задумайтесь только: мое возвращение было для них началом праздника, который они с нетерпением ожидали весь день. И теперь, в уплату за мою к ним щедрость, они едва удерживались, чтобы не расхохотаться, глядя на мои невероятные мучения!

Вот такая жизнь!

* * *

Я спросил у кухарки, и на этот раз услышал собственный голос:

— Кто это *сотворил*?

— Мадам Берман, — ответила она. Она держалась так, как будто не понимала, в чем, собственно, дело.

— Как вы могли это позволить?

— Я — всего лишь кухарка.

— А я-то думал, что могу на вас положиться, — сказал я.

— Это как вам угодно, — ответила она. По правде говоря, мы никогда особенно близко не общались. — Только мне нравится, как стало.

— Вот как!

— Стало лучше, чем раньше.

Тогда я обратился к ее дочери.

— А вы тоже считаете, что стало лучше, чем раньше?

— Да, — ответила она.

— Ну, — сказал я, — просто прелесть! То есть, не успел я выйти за порог, как мадам Берман немедленно вызвала маляров и обойщиков?

Они обе покачали головами. Они рассказали мне, что мадам Берман все сделала сама, и что со своим будущим мужем, врачом из Балтимора, она познакомилась, когда клеила обои в его рабочем кабинете. Она, оказывается, зарабатывала расклейкой обоев! Представляете себе?

— А после кабинета, — сказала Целеста, — он позвал ее оклеить свой дом.

— Он дешево отделался! Она могла бы и его самого оклеить! — сказал я.

Тогда Целеста сказала:

— А вы, между прочим, повязку уронили.

— Что уронил?

— Повязку на глаз, — объяснила она. — Она упала на пол, и вы топчете ее ногами.

Чистая правда! В порыве отчаяния я, видимо, стал рвать на себе волосы, и сдернул повязку с головы. Так что теперь всем был открыт зарубцевавшийся шрам, который Эдит никогда не видела. Моя первая жена, несомненно, наблюдала его достаточно, но она была сиделкой в военном госпитале Форт-Гаррисон, где пластический хирург пытался после войны немного привести в порядок это безобразие. Чтобы дойти до состояния, когда в орбите удерживался бы стеклянный глаз, ему надо было еще резать и резать, так что я предпочел повязку.

И эта повязка упала на пол!

Мое самое сокровенное уродство находилось на виду кухарки и ее дочери! А тут и Пол Шлезингер вышел в прихожую, как раз вовремя, чтобы тоже успеть взглянуть.

Они на удивление спокойно отнеслись к увиденному. Никто не шарахнулся в ужасе, не вскрикнул от отвращения. Могло даже показаться, что особой разницы в моем облике в повязке и без нее не было.

Вернув повязку на ее обычное место, я спросил у Шлезингера:

— А ты был здесь, пока творилось все это?

— Еще бы, — сказал он. — Я бы даже заплатил большие деньги, чтобы в этом участвовать.

— Ты ведь должен был понимать, как на меня это подействует.

— Именно поэтому я и готов был заплатить большие деньги.

— Не понимаю, — сказал я. — Ни с того ни с сего все вокруг стали мне врагами.

— За этих двоих я не ручаюсь, — сказал Шлезингер, — но я тебе теперь враг, без никаких. Почему ты скрыл от меня, что она — Полли Мэдисон?

— Как ты узнал?

— Она мне сама сказала. Когда я увидел, что она тут делает, я стал умолять ее перестать — я был уверен, что ты этого не переживешь. А она ответила, что ты помолодеешь на десять лет. Я понял, что речь тут в самом деле идет о жизни и смерти, и решил принять прямые и непосредственные меры.

Это, кстати, человек, получивший боевой орден за спасение своих товарищей на Окинаве. Он накрыл своим телом японскую гранату, готовую разорваться.

— Я схватил столько рулонов обоев, сколько сумел, побежал в кухню и запихнул их в морозильную камеру. Ради дружбы я готов на все.

— Благодарю! — воскликнул я.

— В жопу твою благодарность, — сказал он. — Она прискакала вслед за мной и потребовала ответа, что я сделал с обоями. Я обозвал ее психанутой бабой. Тогда она обозвала меня нахлебником и слюнявой жестяной дудкой американской литературы. «Да вы-то что понимаете в литературе?» — сказал я. Вот тут она мне и объяснила.

Вот что она ему сказала:

— Только в Штатах и только за последний год общий тираж моих книг составил семь миллионов. Две из них в этот самый момент экранизируют в Голливуде, а фильм, снятый по еще одной в прошлом году, получил «Оскар» за операторскую работу, женскую роль второго плана и музыкальное сопровождение. Знакомься, детка: перед тобой Полли Мэдисон, чемпион мира по литературе в среднем весе! А теперь отдавай мои обои, а не то я тебе руки переломаяю!

* * *

— Рабо, как ты мог меня не остановить? Я же выглядел перед ней полным идиотом, — сказал он, — со своими лекциями о сложностях писательского труда.

— Я ждал удобного момента.

— Считай, что дождался, сукин ты сын.

— Она же все равно в другой весовой категории.

— Это точно. Богаче, чем я, и лучше, чем я.

— Так уж и лучше, — возразил я.

— Она — чудовище, — сказал он, — но книги у нее потрясающие! Она — новое воплощение Рихарда Вагнера, одного из ужаснейших людей за всю историю искусства.

— Откуда ты знаешь, какие у нее книги?

— У Целесты есть полный комплект, и я их все прочел, — сказал он. — Такой вот парадокс. Все лето, стало быть, я читал ее книги и превозносил их до небес, и в то же самое время обращался с ней, как с полуграмотной, не догадываясь, кто она такая.

Так вот, значит, как *он* провел лето: за чтением книг Полли Мэдисон!

— И когда я узнал, кто она такая, — продолжал он, — и что ты это от меня скрывал, я взялся за переустройство твоей прихожей даже еще с большим рвением, чем она сама. Я сказал, что самую большую радость тебе принесут рамы и плинтуса, перекрашенные в цвет детской неожиданности.

Он знал, что у меня связано по крайней мере два неприятных эпизода с тем цветом, который обычно называют цветом детской неожиданности. Даже когда я был мальчишкой в Сан-Игнасио, все вокруг называли его именно так.

Первый из них произошел у магазина «Брукс», много лет назад. Я купил в нем летний костюм, который, как мне казалось, мне очень шел, забрал его после подгонки и собирался в нем дойти до дома. Это было еще то время, когда я был женат на Дороти и жил в Нью-Йорке, и мы все еще собирались сделать из меня бизнесмена. Не успел я выйти на улицу, как попал в объятия двоих полицейских, которые начали довольно грубо меня допрашивать. Вскоре они извинились за ошибку и отпустили меня, объяснив, что банк через дорогу только что ограбил мужчина, надевший на голову капроновый чулок. «Так что единственное, что свидетели могли сказать о нем», сказал один из полицейских, «это что костюм у него был цвета детской неожиданности».

Другая неприятная ассоциация с этим цветом имеет отношение к Терри Китчену. Когда я, Терри и еще несколько художников из нашей шайки переехали сюда в погоне за дешевой недвижимостью и амбарами для картошки, послеобеденным пьянством Терри занимался в барах, являвшихся, по существу, частными клубами для местных работяг. Это, кстати, человек, закончивший юридический факультет Йельского университета. Он стажировался у члена Верховного Суда Джона Харлена⁴⁸ и слу-

⁴⁸ Члены Верховного Суда США каждый год набирают из выпускников ведущих юридических факультетов страны стажеров (по традиции — 124

жил майором в 82-й гвардейской десантной дивизии. Я не только в значительной степени содержал его: когда он напивался так, что не мог самостоятельно добраться до дома, он звонил именно мне. Или просил кого-нибудь мне позвонить.

И вот под каким именем Китчен — возможно, самый выдающийся художник, работавший здесь в округе, если не считать Уинслоу Хомера, — известен тем немногим из посетителей окрестных баров, которые о нем еще помнят: «Тот мужик в машине цвета детской неожиданности».

четверых на каждого судью), которые выполняют для них черновую работу по подготовке решений по делам очередной сессии. Стажировка при Верховном Суде фактически гарантирует избранным таким образом молодым адвокатам выдающуюся юридическую карьеру.

— И где же в настоящее время мадам Берман? — осведомился я.

— Наверху, одевается к выходу на свидание, — ответила Целеста. — Выглядит потрясающе. Вот увидите.

— На свидание? — переспросил я. Она ни разу за все время, что живет здесь, ни с кем не виделась. — С кем у нее может быть свидание?

— С одним психиатром, которого она встретила на пляже, — ответила кухарка.

— У него «Феррари», — добавила ее дочь. — И он придерживал стремянку, пока она клеила обои. А потом пригласил ее на званый ужин в честь Джеки Кеннеди, в Саут-Хэмптоне, а оттуда — на танцы в Сэг-Харбор.

И в эту минуту мадам Берман явилась в прихожей, невозмутимая и величественная, как прекраснейший винтовой корабль на свете, французский пассажирский лайнер «Нормандия».

* * *

Когда я перед войной халтурил в рекламном агентстве, мне заказали нарисовать плакат, изображающий «Нормандию», для бюро путешествий. А когда я, уже в военной форме, собирался отплыть 9 февраля 1942 года в Северную Африку, и записывал для Сэма Ву номер своей полевой почты, небо над Нью-Йоркской гаванью застилал густой дым.

Почему?

Рабочие, которые переделывали океанский лайнер в военный транспорт, устроили в трюме прекраснейшего на свете винтового корабля пожар, быстро вышедший из-под контроля. Напомню еще раз его имя, да будет ему вода пухом: «Нормандия».

* * *

— Это совершенно возмутительно, — сказал я мадам Берман.

Она улыбнулась.

— Как я выгляжу? — спросила она.

Выглядела она чрезвычайно эротично — ее пышная фигура была подчеркнута, подтянута здесь и там, покачивалась на высоких каблуках золоченых туфелек. Облегающее платье-коктейль с глубоким вырезом спереди бесстыдно выставляло напоказ ее соблазнительные полушария. Вот кто не стеснялся использовать секс как оружие!

— Да кому какое дело, как вы выглядите!

— Кому-нибудь точно будет.

— Что вы натворили в моей прихожей? — сказал я. — Вот что я хотел бы знать, и к черту ваш внешний вид!

— Только поскорее, — сказала она. — За мной вот-вот придут.

— Значит, так, — сказал я. — То, что вы устроили тут, не только непростительное оскорбление всей истории изобразительного искусства. Нет, вы еще плюнули на могилу моей жены! Вам отлично известно, что не я, а именно она создала эту прихожую. Я мог бы продолжать, взывать к здравому смыслу в сравнении с безумием, к приличиям в сравнении с вандализмом, к дружественным отношениям в сравнении с пеной у рта. Но поскольку вы, мадам Берман, потребовали четкости и краткости в качестве условий моего самовыражения, в связи с неотвратимым прибытием вашего похотливого мозговеда, давайте вот как: катитесь к чертовой матери, и чтобы я вас здесь больше не видел!

— Фигня, — сказала она.

— «Фигня», — язвительно передразнил я. — Это, вероятно, и есть тот уровень интеллектуального дискурса, который можно ожидать от автора книг, написанных от имени Полли Мэдисон.

— Ты бы прочел хотя бы одну из них, — сказала она. — В них описывается жизнь в ее современном состоянии.

Она махнула рукой в сторону Шлезингера.

— А вы с твоим бывшим другом так и не продвинулись дальше Великой Депрессии и Второй Мировой.

У нее на запястье были часики, украшенные бриллиантами и рубинами, которых я раньше на ней не замечал, и они соскользнули на пол.

Тут дочь кухарки рассмеялась, и я надменно спросил, что ее так позабавило.

— Сегодня у всех руки-крюки, — ответила она. Тогда Цирцея, подобрав часы, спросила, кто еще что уронил, и Целеста рассказала ей о моей повязке.

Шлезингер не преминул поддеть меня на предмет того, что находится под повязкой.

— Жаль, что вы не застали этот шрам, — сказал он. — Это просто ужас, а не шрам! В жизни не встречал столь омерзительного уродства.

Никому бы я такого не спустил, но от него мне пришлось это вытерпеть. У него самого имеется шрам, который напоминает дельту Миссисипи, от груди до паха. Его раскрыло взрывом гранаты.

* * *

У него остался всего один сосок, и он однажды загадал мне загадку:

— Что это такое — три глаза, три соска, две жопы?

— Сдаюсь, — сказал я.

Тогда он сказал:

— Пол Шлезингер и Рабо Карабекян.

* * *

А там, в прихожей, он обратился ко мне и сказал:

— Пока ты не уронил повязку, я и не подозревал, сколько в тебе *тщеславия*. У тебя под ней все вполне приемлемо.

— А теперь, когда ты это выяснил, — сказал я, — можешь убираться отсюда к черту *вместе* с Полли Мэдисон, чтобы и тебя я тоже больше не видел. Так-то вы двое воспользовались моим гостеприимством!

— Я за себя заплатила, — отозвалась мадам Берман.

Чистая правда. Она с самого начала настояла на том, чтобы отдавать кухарке деньги за еду и выпивку.

— Ты задолжал мне столько всего, не измеряемого деньгами, — продолжала она, — что тебе со мной не расплатиться и за миллион лет. А когда я от тебя уйду, ты поймешь, какое одолжение я оказала тебе этой самой прихожей.

— *Одолжение*? Я не ослышался? — фыркнул я. — Да знаете ли вы, *что* эти картинки представляют собой для любого, кто хоть самую малость понимает в искусстве? Они же отрицают искусство! И они не просто лишены сущности. Это — черные дыры, втягивающие в себя разум и мастерство. Более того, они высасывают также честь и достоинство из каждого несчастного, кому случится на них взглянуть.

— Надо же, какой эффект от нескольких картинок, — сказала она, безуспешно пытаясь застегнуть на запястье браслет часов.

— Они еще идут? — спросил я.

— Они уже много лет как не ходят, — ответила она.

— Зачем же их тогда носить?

— Затем, чтобы выглядеть как можно красивее, — сказала она, — но теперь у них сломана застежка.

Она протянула часы мне, и намекнула на историю о моей матери и ее богатстве, драгоценных камнях, вынесенных из бойни.

— Держи! Бери, купишь себе билет и отправишься куда-нибудь, где тебя ждет счастье — в Великую Депрессию или во Вторую Мировую.

Я отмахнулся от ее подарка.

— Тогда, может, в то время, пока меня здесь еще не было? — предложила она. — Хотя туда тебе билет не требуется. Там ты и так окажешься, как только я съеду.

— В июне я был вполне счастлив. И тут появились вы.

— Да, а еще ты был тогда в десять раз бледнее и на десять фунтов легче, и я уж молчу о твоей личной гигиене, из-за которой я почти отказалась от приглашения на ужин. Я боялась подхватить проказу.

— Как мило с вашей стороны.

— Я тебя воскресила, — сказала она. — Ты — мой Лазарь. Причем Иисус Лазаря всего лишь воскресил. Я же тебя не только вернула к жизни — я тебя еще и усадила за автобиографию.

— Несомненно, тоже в качестве издевательства.

— Тоже — как что?

— Как эта прихожая.

— Эти картины — посерьезнее твоих, если дать себе труд о них задуматься, — сказала она.

* * *

— Вы выписали их из Балтимора? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — На прошлой неделе в Бриджхэмптоне, на аукционе, я встретила еще одну любительницу и купила их у нее. Сначала я не знала, что с ними делать, и спрятала их в подвале — за банками с «Атласной Дюра-люкс».

— Надеюсь только, что цвет детской неожиданности — не из банки «Атласной Дюра-люкс».

— Вот еще, — сказала она. — Я же не идиотка, чтобы пользоваться «Атласной Дюра-люкс». Так объяснить тебе, в чем возвышенный смысл этих картин?

— Нет.

— Я честно пыталась понять твои картины и оказать им уважение. Чем же мои не заслужили того же от тебя?

— Вы знаете такое слово — китч? — спросил я.

— Одна из моих книг называлась «Китч», — ответила она.

— Я ее читала, — вставила Целеста. — Там про одну девочку, и ее мальчик все пытается доказать, что у нее дурной вкус. Он у нее и в самом деле дурной, но не в этом дело.

— Ты, стало быть, не считаешь картины с девочками на качелях серьезным искусством? — продолжала язвить мадам Берман. — Тогда подумай о том, о чем думали, глядя на них, жители викторианской Англии, то есть, о болезнях и невзгодах, которые ожидали этих милых, невинных девчушек в самом ближайшем будущем: дифтерия, туберкулез, оспа, выкидыши, грубый и жестокий муж, нищета, вдовство, проституция, и в самом конце — могила за церковной оградой.

С дорожки перед крыльцом раздался хруст гравия под колесами машины.

— Мне пора, — сказала она. — Похоже, серьезное искусство тебе не по плечу. Значит, будешь теперь ходить через заднюю дверь.

И удалилась!

И НЕ УСПЕЛ ВОРЧАЩИЙ И УРЧАЩИЙ «Феррари» заезжего психиатра исчезнуть в направлении заката, как кухарка объявила, что и она тоже уходит.

— Я должна предупредить об увольнении за две недели, и предупреждаю, — сказала она.

Вот так раз!

— Откуда такое неожиданное решение? — спросил я.

— Очень даже ожидаемое, — сказала она. — Я и Целеста совсем уже собирались уходить прямо перед приходом мадам Берман. Здесь было как в могиле. С ней все ожило, поэтому мы остались. Но мы все время повторяли: «Она уезжает, и мы уезжаем».

— Но я же *не могу* без вас, — сказал я. — Что я еще могу сделать, чтобы вы остались?

Если подумать: в самом деле — они и так занимали комнаты с видом на океан, юные друзья Целесты распоряжались участком по своему желанию, плюс бесплатная еда и питье в неограниченных количествах. Кухарке позволялось брать из гаража любую машину в любой момент, а платил я ей не меньше, чем кинозвезде.

— Например, запомнить, как меня зовут, — ответила она.

Это в каком смысле?

— Что? — спросил я.

— Всякий раз, когда вы упоминаете меня в разговоре, вы говорите обо мне — «кухарка». А у меня есть имя. Меня зовут Элисон Уайт.

— Да что вы говорите! — воскликнул я в веселом ужасе. — Мне это отлично известно. На это имя я каждую

неделю выписываю чек. Я что, сделал в нем ошибку, что ли? Или перепутал индивидуальный номер налогоплательщика?

— Но больше вы никогда обо мне не вспоминаете, только когда выписываете чек. Да и тогда, мне кажется, вряд ли. До приезда мадам Берман, пока Целеста была еще в школе, и мы тут оставались вдвоем в целом доме, и спали каждую ночь под одной крышей, и я готовила вам еду...

Тут она замолчала. Наверное, ей казалось, что она все объяснила. Теперь я понимаю, как ей тогда было сложно.

— И? — сказал я.

— Мне ужасно неудобно.

— Я пока не могу судить, в чем неудобство.

И тогда она выпалила:

— Я не хочу за вас замуж!

Ничего себе!

— А кто ж хочет-то?

— Я всего лишь хочу человеческого отношения, а не быть ничтожеством и пустым местом, раз уж я делю кров с каким-то мужчиной, каким бы он ни был, — сказала она.

И тут же поправилась:

— С каким-то человеком.

Все это до удивления напоминало слова моей первой жены Дороти: что я часто обращался с ней так, будто мне не было дела, как ее зовут, даже будто ее вообще не было рядом. Да и следующая реплика кухарки была мне знакома из уст Дороти:

— Мне кажется, что вы до смерти боитесь женщин.

— И мне тоже, — сказала Целеста.

* * *

— Целеста, — сказал я, — мы же всегда дружили, правда?

— Вам так кажется, потому что вы считаете меня дурочкой, — ответила Целеста.

— К тому же она еще не в том возрасте, когда женщин можно начинать бояться, — добавила ее мать.

— Так значит, уходят вообще все, — сказал я. — А где Шлезингер?

— Смылся, — сказала Целеста.

* * *

Чем же я виноват, что мне так досталось? Я всего лишь уехал на день в Нью-Йорк, предоставив вдове Берман возможность переделать прихожую! И вот теперь я стою, окруженный обломками прежней жизни, а она укатила в Саут-Хэмптон ручкаться с Джеки Кеннеди!

— Да уж, — сказал я наконец. — И мою знаменитую коллекцию картин вы, как я понимаю, тоже ненавидите.

Они слегка повеселели — вероятно, потому, что я перевел разговор на тему, которую было обсуждать легче, чем отношения между мужчинами и женщинами.

— Да нет, — сказала кухарка. Сказала Элисон Уайт, Элисон Уайт, *Элисон Уайт!* Вполне приличная женщина, милое лицо, подтянутая фигура, густые каштановые волосы. Дело во мне. Это я не вполне приличный мужчина.

— Я просто не вижу в них никакого смысла, — продолжала она. — Наверняка из-за того, что я необразованная. Вот если бы я закончила институт, я бы точно поняла, какие они замечательные. А ту единственную из них, которая мне нравилась, вы продали.

— Это какую же? — спросил я.

Тут и я оживился, в надежде хоть что-то вынести из этого ужаса: свидетельство представителей простого народа о том, какая именно из моих картин, мною при этом проданная, обладала такой силой, что сумела понравиться даже им.

— Где два черных мальчика и два белых мальчика, — ответила она.

Я перерыл все закоулки своей памяти в поисках полотна, висевшего в моем доме, которое можно было бы так описать при наличии воображения и отсутствии образования. Два черных пятна и два белых пятна? Кто это? Похоже опять же на Ротко.

Но потом до меня дошло, что она говорит о картине, которую я никогда не считал частью своей коллекции. Она досталась мне в виде сувенира. Нарисовал ее никто иной, как Дэн Грегори! Это была журнальная иллюстрация к рассказу Бута Таркингтона, о встрече в переулке какого-то городка на Среднем Западе, в прошлом, а не в этом веке, между двумя черными и двумя белыми мальчиками, лет примерно десяти.

На картине было ясно, что они в этот момент раздумывают, стоит ли им подружиться или, наоборот, разойтись в разные стороны⁴⁹.

В рассказе чернокожие мальчики носили забавные имена: Герман и Верман. Я не раз слышал, что никто не умел рисовать чернокожих лучше, чем Дэн Грегори. Однако рисовал он их с фотографий. Он мне сразу сказал, что ни один чернокожий никогда не переступит порог его дома.

Я это полностью одобрил. В течение какого-то времени я полностью одобрял все, что он говорил. Я ведь собирался стать, как он. И в этом, увы, немало преуспел.

* * *

Картину с двумя черными и двумя белыми мальчиками я продал одному миллионеру, торговцу недвижимостью и страховыми полисами в Техасе, в городе Лаббок, владельцу самой полной, по его словам, коллекции произведений Дэна Грегори во всем мире. Насколько мне известно, не только самой полной, но и единственной. Он даже выстроил для нее обширный частный музей.

Он каким-то образом вызнал, что я был подмастерьем у Грегори, и позвонил с вопросом, не сохранилось ли у меня каких-нибудь работ моего мастера, с которыми я был бы готов расстаться. У меня была только эта. Я не смотрел на нее уже много лет, поскольку она висела в ванной,

⁴⁹ Описана коллизия не из рассказа, а из XV главы повести Таркингтона «Пенрод».

примыкающей к одной из многочисленных комнат для гостей, куда мне не было никакой причины заходить.

— Вы продали единственную картину, которая была о чем-то, — сказала Элисон Уайт. — Мне нравилось рассматривать ее и воображать, что случилось дальше.

* * *

А, и еще последнее, что сказала мне Элисон Уайт, перед тем, как уйти вместе с Целестой наверх, в свой флигель с бесценным видом на океан:

— Мы пойдем, чтобы не мешать тут, — сказала она, — и нам теперь все равно, узнаем ли мы когда-нибудь, что находится в амбаре.

* * *

И вот я остался внизу в полном одиночестве. Подниматься наверх мне было страшно. Мне вообще не хотелось больше находиться в этом доме, и я серьезно обдумывал возможность снова переселиться, вернуться в то состояние, в котором я пребывал, когда умер первый муж милой Эдит: полудикий енот в амбаре для картошки.

Тогда я отправился в многочасовую прогулку по пляжу, дошел до Сагапонака⁵⁰ и вернулся обратно, воскресив в себе память о своих отшельнических деньках — в голове пусто, в легких свободно.

На столе лежала записка от кухарки, от Элисон Уайт, сообщавшая, что ужин на плите. Я и поел. На аппетит я никогда не жаловался. Потом выпил немного, послушал музыку. За восемь лет, проведенных мною в профессиональной армии, я приобрел один навык, чрезвычайно полезный и в штатской жизни: как заснуть где угодно, что бы вокруг ни происходило.

⁵⁰ Поселок на южном побережье Лонг-Айленда, примерно в 7 км к юго-западу от Ист-Хэмптона. После переезда в Нью-Йорк Воннегут купил дачу именно в этом месте.

Проснулся я около двух ночи, оттого, что кто-то очень нежно массирует мне шею. Цирцея Берман.

— От меня все ушли, — пожаловался я. — И кухарка предупредила, что через две недели она с Целестой тоже уедет.

— Да нет же, — сказала она. — Я с ними уже поговорила, они остаются.

— Слава Богу! Что же вы им сказали? Они же терпеть не могут это место.

— Я пообещала им, что не уеду, и тогда они тоже решили остаться. Тебе бы лучше пойти в постель. Ты с утра не разогнешься, если просидишь здесь всю ночь.

— Ага, — сказал я сонно.

— Мамочка уходила на танцы, но теперь вернулась домой, — сказала она. — В постель, Карабекян. Все будет хорошо.

— Только вот Шлезингера я больше не увижу.

— Ну и что? Ты никогда не был ему другом, а он — тебе. Уж *это* ты должен понимать.

Той ночью мы заключили, судя по всему, какое-то соглашение. Похоже, торговались о его условиях мы уже довольно давно: она требовала того, я — этого.

По причинам, которые она держит при себе, вдовица Берман хочет остаться жить и трудиться здесь, а не возвращаться в Балтимор. По причинам, которые, увы, не представляют для меня никакого секрета, я хочу остаться жить — для чего мне нужен человек ее яркости.

Знаете, на какие уступки она пошла? Она не будет больше говорить о картофельном амбаре.

* * *

Возвращаемся в прошлое.

После того, как Дэн Грегори выдал мне при нашем первом знакомстве задание создать сверхточную картину его мастерской, он объявил, что у него для меня есть очень серьезное сообщение, которое необходимо выучить наизусть. Вот какое: «А король-то голый».

— Я хочу, чтобы ты это повторил, — сказал он. — Несколько раз.

Я послушался.

— А король-то голый, а король-то голый, а король-то голый.

— Превосходное выступление, — сказал он, — неподражаемо, просто шедевр.

Он даже хлопнул несколько раз одобрительно в ладоши. Я не понимал, что от меня требовалось. Я чувствовал себя Алисой в Стране Чудес.

— Ты должен повторять это, так же громко и убедительно, как сейчас, — сказал он, — всякий раз, когда кто-то доброжелательно отзывается о так называемом современном искусстве.

— Ладно, — сказал я.

— Оно — дело жуликов, психов и дегенератов, — продолжал он, — и то, что многие теперь принимают его всерьез, служит для меня доказательством, что весь мир сошел с ума. Ты согласен со мной?

— Конечно, конечно, — сказал я.

— Вот и Муссолини того же мнения. Ты ведь тоже преклоняешься перед Муссолини?

— Так точно, — сказал я.

— Знаешь, что Муссолини сделал бы в первую очередь, если бы пришел к власти в этой стране?

— Никак нет, — сказал я.

— Сжег бы музей современного искусства и запретил слово «демократия». А потом нашел бы слова, которые правдиво описывают нас всех, в прошлом и настоящем, и заставил бы нас признать эту правду о себе. А потом приказал бы увеличить производительность. Или честная работа, или касторка!

Год спустя я наконец решился спросить его, в чем же заключается правда о жителях Соединенных Штатов, и он ответил:

— Испорченные детки, которым не хватает точных и понятных приказов от сурового, но справедливого отца.

* * *

— На рисунках все должно быть так, как на самом деле, — сказал он.

— Так точно, — сказала я.

Он указал в сторону модели клипера, маячившей на каминной полке где-то в неясной дали.

— Это, друг мой, «Повелитель морей», который на одних парусах мог идти быстрее, чем большинство современных грузовых судов⁵¹! Вот так вот!

— Так точно, — сказал я.

— И когда ты изобразишь его на той чудесной картине, на которой будет нарисована моя мастерская, я буду проверять это изображение с лупой. И на какую бы снасть в такелаже я ни указал пальцем, ты должен будешь сказать мне, как она называется и для чего предназначена.

— Так точно, — сказал я.

— Пабло Пикассо на такое не способен.

— Никак нет, — сказал я.

Он снял со стойки винтовку, «Спрингфилд» под патрон 1906 года, состоявшую тогда на вооружении в пехотных войсках США. Там же висела и винтовка «Энфилд», состоявшая на вооружении в пехотных войсках Великобритании — наподобие той, из которой его, вероятнее всего, и застрелили.

— А изображение этого безукоризненного орудия убийства на твоей картине должно быть настолько правдоподобным, — сказал он, имея в виду «Спрингфилд», — чтобы я смог его зарядить и выпалить по грабителю, забравшемуся в дом.

Он ткнул пальцем в небольшой выступ на дуле и спросил меня, что это такое.

— Не могу знать, — ответил я.

— Штифт штыкового крепления, — сказал он.

Мой словарь обогатится втрое, вчетверо, пообещал он мне, и начнем мы с деталей винтовки, у каждой из которых имеется свое название. От этого несложного перечисления, обязательного к изучению для любого новобранца, продолжал он, мы перейдем к каталогу костей, сухожилий, органов, трубочек и веревочек в теле человека — обязательному к изучению для любого студента-медика. Обяза-

⁵¹ На пути из Ливерпуля в Аделаиду в 1854 году «Повелитель морей», зафрахтованный компанией «Black Ball», установил рекорд скорости для парусного судна - 22 узла (или 41 км/ч), продержавшийся более 100 лет (то есть, не превзойденный к описываемому моменту).

тельному и для него самого в бытность подмастерьем в Москве.

Он заверил меня, что из изучения сперва простой винтовки, а потом головокружительно сложного человеческого тела я извлеку духовный урок — ведь именно для уничтожения тела винтовка и существует.

— Что здесь добро и что — зло, — спросил он, — винтовка или этот скользкий, трясущийся, хихикающий мешок с костями?

Я ответил, что тело — добро, а винтовка — зло.

— А известно тебе, что эта винтовка была разработана для американской армии, для защиты нашей чести и нашей родины от злобных врагов?

Тогда я сказал, что это зависит, чья винтовка и чье тело, и что и то, и другое может представлять и добро, и зло.

— И кому принадлежит последнее слово в этом вопросе? — спросил он.

— Богу?

— Да нет же. Здесь, на Земле.

— Не знаю, — сказал я.

— Художникам. И писателям, в том числе поэтам, драматургам и историкам, — сказал он. — Они — судьи в Верховном Трибунале Добра и Зла, и мое место — среди них. Как знать, может, и тебе когда-нибудь удастся стать его членом!

Вот это, я понимаю, мания морального величия!

И вот что мне сейчас пришло в голову: возможно, самое достойное качество абстрактных экспрессионистов, учитывая невероятное количество бессмысленного кровопролития, вызванного криво понятыми уроками истории, состоит в том, что они отказались заседать в подобном суде.

* * *

Я так долго, почти три года, продержался у Дэна Грегори по причине своей покорности, а также потому, что он нуждался в общении, поскольку большинство своих зна-

менитых друзей он отвадил яростными, беспощадными спорами о политике. Когда я упомянул в первом разговоре с ним, что слышал знаменитый голос Уильяма Филдса с верхушки парадной лестницы, он отозвался, что Филдсу путь в этот дом теперь заказан, как и Элу Джолсону, и всем остальным гостям, которые разделили с ним трапезу этой ночью.

— Не понимают, и не желают понимать! — сказал он.

— Так точно, — сказал я.

Он перевел разговор на Мэрили Кемп. Он заявил, что она и всегда-то была неуклюжая, а тут еще к тому же напилась, вот и свалилась с лестницы. Мне кажется, он тогда уже сам всерьез этому верил. Ему, кстати, ничего не стоило показать мне, с какой именно лестницы, я ведь стоял на верхушке этой лестницы. Но он этого не сделал. По его мнению, мне достаточно было знать, что она свалилась с *какой-то* лестницы. Какая разница, с какой.

И в продолжение всего последующего разговора о Мэрили он ни разу больше не упомянул ее имя. Она превратилась в «женщин».

— Женщины никогда не признаются, что в чем-то виноваты, — сказал он. — В какие бы неприятности они ни влезли, они не успокоятся, пока не найдут мужчину, на которого можно свалить ответственность. Правда?

— Правда.

— Ничего не способны принять иначе, чем на свой счет. Можешь о них и не упоминать, вообще не знать, что они рядом, и все равно каждое твое слово они будут считать направленным в их сторону. Замечал?

— Так точно, — сказал я. Теперь, когда он обратил на это внимание, мне казалось, что я *и в самом деле* замечал такое.

— А время от времени они еще воображают, будто лучше тебя понимают в том, чем ты занимаешься. — сказал он. — Гнать их надо, иначе испортят все, что смогут! У них свое дело, у нас свое. Мы никогда не пытаемся их запрячь в свою работу, а они нас впрягают при первой возможности. Слушай и запоминай.

— Так точно.

— Никогда не связывайся с женщиной, которая хочет быть мужчиной. Это значит, что она не собирается выполнять то, что положено женщинам — то есть, тебе придется делать и то, что положено мужчинам, и то, что положено женщинам. Ты понял?

— Так точно, понял, — сказал я.

Дальше он сказал, что женщины не способны достичь успеха в области искусства, науки, политики, промышленности, поскольку их главное предназначение — рожать детей, поддерживать мужчин и вести хозяйство. Это утверждение он предложил мне попытаться опровергнуть, назвав десять женщин, которые отличились в какой-либо сфере, кроме домашней.

Думаю, что сейчас десятерых я бы нашел, но тогда в голову мне пришла единственно лишь святая Иоанна.

— Жанна д'Арк, — сказал он, — была гермафродитом!

НЕ ЗНАЮ, КАКИМ ОБРАЗОМ это вписывается в мой рассказ, возможно, что и никаким. Во всяком случае, это самая незначительная деталь в истории абстрактного экспрессионизма, какую только можно себе представить, и тем не менее.

Кухарка, которая, ворча, выдала мне мой первый нью-йоркский ужин, которая все время повторяла: «И что дальше? И что дальше?», умерла через две недели после моего прибытия. Вот в чем заключался ответ на ее извечный вопрос: дальше она упадет замертво в «Фармации Тертл-Бэй», аптеке в двух кварталах от дома⁵².

Но вот какая подробность: гробовщик выяснил, что она была не то, чтобы женщиной, и не то, чтобы мужчиной. Она была немного и тем, и другим. Она была гермафродитом.

И еще более незначительное примечание: должность повара при Дэне Грегори немедленно перешла к Сэму Ву, владельцу китайской прачечной.

* * *

Мэрили вернулась из больницы, в кресле-каталке, на третий день после моего прибытия. Дэн Грегори не вышел ее встречать. Думаю, он не оторвался бы от работы, даже если бы в доме случился пожар. В этом он походил на мое-

⁵² На самом деле не в двух кварталах, а прямо за углом. Несмотря на то, что место описывается совершенно конкретное, его черты и границы немного размыты.

го отца с его ковбойскими сапогами, или на Терри Китчена с краскопультом, или на Джексона Поллока, брызжущего краской на расстеленный холст: когда он творил, весь остальной мир переставал существовать.

И я стану таким же после войны, и это разрушит мою первую семью, сломает мою решимость стать хорошим отцом. Я никак не мог приспособиться к гражданской жизни, и тут вдруг обнаружил штуку посильнее героина, и такую же безответственную: если начать закрашивать огромный кусок холста одним цветом, то весь мир перестает существовать.

* * *

Грегори отдавал своей работе нераздельное внимание по двенадцать часов в день, а то и больше, и мое ремесло подмастерья оказалось таким образом легче легкого. Ему ничего от меня не было нужно, и тратить время на выдумывание заданий ему тоже не хотелось. Да, он велел мне изобразить мастерскую, но как только он вернулся к своей работе, он, мне кажется, об этом забыл.

* * *

И что же, создал ли я картину его мастерской, которую нельзя было отличить от фотографии? О да, о да.

Но единственным человеком, которому было какое-то дело даже до того, предприму ли я попытку сотворить подобное чудо или нет, был я сам. Я настолько не стоил его внимания, настолько не дотягивал до гениальности, до Григоряна при Бескудникове, настолько не воспринимался им как угроза, как наследник, как что угодно, что с таким же успехом мог бы быть слугой, принимающим заказ на обед.

Неважно! Что хочешь! Мясо! Картину этой мастерской! Какая разница? Цветную капусту!

Ах, так. Ну, я ему докажу.

И я доказал.

Придумывать для меня работу пришлось его настоящему помощнику, Фреду Джонсу, военному летчику в Первой Мировой. Фред назначил меня курьером, что наверняка явилось тяжелым ударом для курьерской компании, которой они пользовались до тех пор. Кто-то, кому отчаянно нужна была работа — неважно, какая, — потерял ее в тот момент, когда Фред выдал мне пригоршню жетонов на метро и карту города.

Он также приспособил меня к составлению описи ценных предметов в мастерской Грегори.

— Но я же буду мешать господину Грегори работать, — сказал я.

И он ответил:

— Можешь хоть перепилить его пополам, распевая при этом государственный гимн. Он не заметит. Только держись подальше от его рук и не попадайся ему на глаза.

И в тот момент, когда вернулась Мэрили, я был в мастерской, в двух шагах от Дэна Грегори. Я переписывал в гроссбух обширную коллекцию штыков. Я до сих пор не забыл, каким злом веяло от них, этих наконечников копий, прикрепляемых к ружейным стволам. Один штык был просто заостренным прутом. Другой имел треугольное сечение, чтобы не дать ране закрыться — чтобы кровь и внутренности в ней не задерживались. Еще на одном были зубцы, как у пилы — видимо, на случай, если на пути встретится кость. Мне пришло в голову тогда, что очевидный ужас прошлой войны, к счастью, не позволит больше романтическим образам из литературы и истории погнать нас на еще одну войну.

Теперь-то, разумеется, купить ребенку игрушечный автомат с пластмассовым штыком можно в каждом магазине игрушек.

Тут снизу просочились звуки, сопровождавшие возвращение Мэрилы. Но и я, хотя я и находился в глубоком долгу перед ней, не поспешил ее встречать. Судя по всему, и кухарка, и моя первая жена были правы: я до смерти боялся женщин — вероятно, из-за предательства матери, которая взяла да и ушла, бросив меня⁵³. Так сказала сегодня за завтраком Цирцея Берман.

Возможно.

В общем, так: ей пришлось вызвать меня вниз, и я вел себя очень церемонно. Я не знал, что Грегори чуть не убил ее за материалы, которые она мне посылала. А если бы я это и знал, то все равно вел бы себя очень церемонно. Одной из причин отсутствия бурных эмоциональных проявлений несомненно было то, что я ощущал себя уродливым, бессильным и отвратительно девственным. Я был ее недостойн, она ведь была такая красивая, почти как Мадлен Кэрролл, самая красивая актриса на свете.

Надо сказать, что и она тоже обращалась со мной холодно и натянуто, вероятно, отвечая своей церемонностью на мою. И вот еще, может быть: она хотела ясно показать — мне, Фреду, Грегори, кухарке-гермафродиту, всему миру, — что выписала меня сюда с западного побережья не для того, чтобы крутить со мной шашни.

Если бы только я мог вернуться в тот день в машине времени, какое блестящее будущее я бы ей напророчил!

— Когда я встречу с тобой после Второй Мировой во Флоренции, ты будешь столь же прекрасна, но станешь мудрее, гораздо мудрее. Ты вместе с Фредом и Грегори переедешь жить в Италию, а потом Фред и Грегори будут убиты в Египте, при Сиди-Баррани. Ты к тому времени завоюешь сердце Бруно, графа Портомаджоре, выпускника Оксфорда и министра культуры у Муссолини, одного из крупнейших землевладельцев во всей Италии. Он также будет стоять во главе сети английских шпионов в Италии на протяжении всей войны.

⁵³ Мать Воннегута покончила с собой в 1944 году, приняв смертельную дозу снотворного.

* * *

Когда я посетил ее палатцу после войны, она показала мне полотно, преподнесенное ей мэром Флоренции. На нем был изображен расстрел ее покойного мужа фашистами, прямо перед концом войны.

Картина была выполнена в том же самом стиле коммерческого китча, в котором работал Дэн Грегори, и в котором был, и остаюсь, способен работать и я.

* * *

Ее представление о собственном месте в этом мире, посреди Великой Депрессии, в 1933 году, раскрылось для меня, как я теперь понимаю, в одном разговоре между нами. Мы говорили о пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». В то время как раз вышло новое издание в библиотеке для чтения, с иллюстрациями Дэна Грегори, мы оба прочли ее и решили обсудить.

Самая убедительная из иллюстраций Грегори изображала самый конец пьесы. Главная героиня, Нора, выходит за дверь своего уютного дома, покидает своего мелкобуржуазного мужа, своих детей, своих слуг, заявив, что ей необходимо найти себя в мире, прежде чем она сможет стать настоящей женой и матерью.

* * *

Такой у этой пьесы финал. Нора не собирается больше терпеть насмешки над своей невежественностью, беспомощностью и незрелостью.

Вот что сказала мне Мэрили:

— А мне кажется, это не финал пьесы, а как раз ее начало. Нигде не сказано, как у нее получилось выжить. На какую работу могла рассчитывать тогда женщина? У Норы не было ни опыта, ни образования. Жилья и денег на еду у нее тоже не было.

* * *

Разумеется, Мэрили находилась в точно таком же положении. Как бы жестоко ни обращался с ней Грегори, за дверью его уютного особняка ее ожидали только голод и унижение.

Через несколько дней она объявила, что решила эту загадку.

— Это *подделка!* — сказала она, явно довольная собой.

— Ибсен придумал такую концовку для зрителей, чтобы они могли уйти домой *довольными*. У него не хватило смелости показать настоящий финал, которого *требуют* все остальные события в пьесе.

— Чего же они требуют? — спросил я.

— Она должна покончить с собой, — сказала Мэрили.

— Причем немедленно — броситься, скажем, под трамвай, не дожидаясь занавеса. *Вот* в чем логика пьесы. Никто никогда не ставит ее в таком виде, но логика именно в этом.

* * *

Изрядное количество моих друзей покончили с собой, но я так и не научился видеть за этим драматургическую необходимость, которую разглядела Мэрили в пьесе Ибсена. То, что эта необходимость от меня ускользает, опять же указывает, скорее всего, на поверхностность моего участия в жизни настоящего искусства.

Вот список, состоящий только из моих друзей-художников, причем достигших, или вот-вот собирающихся достигнуть, значительного успеха в своей области.

Аршиль Горки повесился в 1948-м году. Джексон Поллок в пьяном виде обмотал свой автомобиль вокруг дерева на обочине пустынного шоссе в 1956-м. Это произошло как раз накануне того, как моя жена и дети меня бросили. Еще через три недели Терри Китчен выстрелил себе в рот из пистолета.

Когда мы еще жили в Нью-Йорке, я, Поллок и Китчен, все трое — изрядные пьяницы, были известны в таверне «Под кедром» как «Три мушкетера».

Вопрос на засыпку: сколько мушкетеров осталось в живых? Ответ: я один.

А, вот еще: Марк Ротко, набив аптечку таким количеством снотворного, что хватило бы убить слона, изрезал себя до смерти ножом в 1970-м.

Какой же вывод следует из столь ужасающих проявлений смертельного недовольства окружающим миром? Вот какой: некоторым людям, в отличие от прочих, к каковым прочим отношусь и я, и Мэрили, чрезвычайно трудно угодить.

Как сказала Мэрили о Норе из «Кукольного дома»:

— Ей надо было остаться, и крутиться, как получится.

Во ВСЕЛЕННОЙ НЕТ ПОЧТИ НИЧЕГО, кроме того, во что мы верим — и неважно, основана ли эта вера на фактах. Тогда я верил, что человеческое семя, не будучи извергнутым, перерабатывается в здоровом мужском теле в сущность, делающую нас сильными, веселыми, смелыми и талантливыми. Дэн Грегори тоже в это верил, как и мой отец, как и американские вооруженные силы, организация бойскаутов и Эрнест Хемингуэй. Поэтому я разжигал в себе эротические фантазии, связанные с Мэрили, и даже вел себя время от времени так, будто я ухаживаю за ней, и все исключительно для того, чтобы увеличить количество семени, которое преобразуется затем в благотворные составляющие.

Я долго шаркал ногами по ковру, а потом разряжал накопившееся электричество на Мэрили, заставляя ее врасплох — дотрагиваясь до ее шеи, или щеки, или руки. Просто порнография какая-то.

Кроме того, я подговорил ее тайком уходить со мной из дома и делать то, что привело бы Грегори, узнай он об этом, в совершенную ярость — посещать музей современного искусства.

Впрочем, в половом смысле я для нее представлял собой не более чем надоедливый приятель. Она была влюблена в Грегори, а он к тому же предоставлял нам обоим возможность беззаботно пережить Великую Депрессию. Не надо забывать о главном.

Но тем временем мы неосторожно подставились под чары опытного оболъстителя, против которых оказались

бессильны. И когда мы осознали, насколько глубоко запутались, бежать было уже поздно.

Понятно, кого, или что, я имею в виду?

Музей современного искусства.

* * *

Теория о превращении неистраченного семени во вселенские витамины даже находила подтверждение в моих достижениях. Бегая у Грегори на посылках, я находил способы попадать из одного места в другое на острове Манхэттен, известные разве что крысам в канализации. Мой словарь обогатился впятеро, потому что я выучил названия и узнал предназначение всех важных деталей разнообразных организмов и машин. Самым же волнующим достижением было для меня вот что: я выполнил безукоризненно точную живописную копию мастерской Грегори всего за шесть месяцев! Кость была на ней костью, мех — мехом, волос — волосом, пыль — пылью, сажа — сажой, шерсть — шерстью, ткань — тканью, орех — орехом, дуб — дубом, шкура — шкурой, железо — железом, сталь — сталью, старое — старым, а новое — новым.

А вода, капающая из люка на потолке, была не только самой мокрой водой на свете: в каждой капле, если посмотреть на нее через увеличительное стекло, отражалась вся эта чертова мастерская! Недурно! Недурно!

* * *

Вот такая идея посетила меня вдруг, совершенно ниоткуда: возможно, древнее и повсеместно распространенное поверье, что семя способно преобразовываться в энергичные действия, и вдохновило Эйнштейна на весьма похожую, в сущности, формулу: $E = mc^2$.

* * *

— Недурно, недурно, — отозвался о моей картине Дэн Грегори. Я уже вообразил себе его внутреннее смятение

— чувства Робинзона Крузо в тот момент, когда он осознал, что не является единоличным хозяином своего крохотного островка. Теперь рядом обитал я, и ему придется с этим считаться.

— Однако «не дурно» может означать не только «хорошо», — продолжал он, — но и «посредственно», а то и хуже, не правда ли?

И не успел я даже заикнуться в ответ, как он пристроил картину в камин с черепами, поверх тлеющих углей. Кропотливая шестимесячная работа вылетела в трубу в одно мгновение.

Вот что мне, онемевшему от потрясения, удалось выжать из себя:

— Но... в чем дело?

— Душа, отсутствует душа⁵⁴, — напыщенно объявил он.

Вот так и я оказался под пятой очередного Бескудникова, гравера Его Императорского Величества!

* * *

Я понимал, что ему не понравилось, и это не были пустые придирки с его стороны. Каждой своей картиной он во всеуслышание заявлял, что в этом мире он любит, что ненавидит и к чему безразличен, какими бы нелепыми его приязни и неприязни ни казались нам теперь. Если бы я оказался в том частном музее в Техасе, то для меня из собранных там в постоянной коллекции картин составила бы своего рода голограмма Дэна Грегори. Рука, разумеется, прошла бы насквозь, вздумай я прикоснуться к нему, но передо мной все же стояло бы трехмерное изображение. Грегори жив!

В то время как, не приведи Господь, мне пришлось бы умереть, и какой-нибудь чародей восстановил бы все мои картины, от той, сожженной в камине, и до самой послед-

⁵⁴ В образе Грегори Воннегут, по его словам, совместил безукоризненную технику Эндрю Уайета и страсть к «пойманным мгновениям» Нормана Рокуэлла — но за вычетом «души», присущей этим художникам.

ней, которую мне предстоит создать в этой жизни, и развесил их под куполом огромной ротонды, направив душу каждой из них так, чтобы они сошлись в одной точке, и если бы моя мать и все женщины, которые признавались мне в любви, а именно Мэрили, Дороти и Эдит, простояли бы в этой точке несколько часов, и если бы к ним даже присоединился мой самый лучший друг, а именно Терри Китчен, то никому бы из них не пришла при этом в голову ни одна мысль обо мне — разве что случайно. В точке схождения лучей не нашлось бы ни крупинки безвременно ушедшего Рабо Карабекяна, да и вообще какой-либо душевной энергии!

Вот такой эксперимент.

* * *

Да, да, я знаю: я тут недавно хулил работы Грегори, обзывал его чучельником, говорил, что картины его вместо течения жизни изображали отдельные мгновения, и всякое такое. Но уж рисовальщиком он был таким, каким мне стать никогда не светило. Никто не мог передать блеск этих мгновений в стеклянных глазах выпотрошенных животных лучше, чем Дэн Грегори.

* * *

Цирцея Берман только что спросила меня, как отличить хорошую картину от плохой.

Я сказал ей, что самый лучший ответ на этот вопрос дал один художник, по имени Сид Соломон. Он со мной примерно одного возраста, и проводит лето неподалеку отсюда. Я услышал, как он отвечал одной очень красивой девушке на званом приеме лет пятнадцать назад. Она так широко распахнула глазки! Разве что на цыпочки не встала, так ей хотелось, чтобы он ей все-все объяснил про искусство.

— Как отличить хорошую картину от плохой? — повторил он.

Сид — сын венгра-лошадника. Он носит роскошные усы подковой.

— Очень просто, прелесть моя, — сказал он. — Нужно только посмотреть на миллион картин, и тогда точно не ошибешься.

Все так! Все так!

* * *

Опять к настоящему.

Хочу рассказать, что случилось вчера после обеда. Я принимал первых посетителей с тех пор, как моя прихожая была, как выражаются специалисты по отделке, «обновлена». Молодой человек из Госдепартамента привез ко мне трех писателей из Советского Союза: одного из Таллинна, в Эстонии, откуда прибыли предки мадам Берман, — по дороге из райского сада, разумеется, — и двоих из Москвы, где обитал некогда Дэн Грегори. Мир тесен. Они не понимали по-английски, но их спутник отлично справился с переводом.

Они ни словом не обмолвились о прихожей, пройдя через нее, и оказались образованными ценителями абстрактного экспрессионизма, в отличие от остальных гостей из СССР. Но, собираясь уходить, они все же не могли удержаться от вопроса, почему в прихожей я держу такие низкопробные поделки.

Я пересказал им речь мадам Берман об ужасах, ожидающих этих детей, чем довел их почти до слез. Они были страшно смущены. Они принесли мне свои глубочайшие извинения за то, что не смогли проникнуться истинной ценностью хромолитографий — но теперь, после моего объяснения, были полностью согласны с тем, что они действительно являются самыми ценными во всем доме. Они обошли прихожую, останавливаясь перед каждой из картин и оплакивая страшную судьбу каждой из девочек. Большая часть этого осталась без перевода, но я примерно понял, что речь шла о войнах, болезнях и так далее.

Успех был полный. Меня обнимали все по очереди.

Ни разу еще мои гости не прощались со мной так страстно! Как правило, им нечего сказать.

Но эти даже кричали мне что-то, уже выйдя за порог, улыбаясь и кивая головами. Я спросил молодого человека из Госдепартамента, что они кричат, и он перевел: «Нет — войне, нет — войне».

Вернемся в прошлое.

Почему, когда Дэн Грегори сжег мою работу, я не поступил с ним так же, как он с Бескудниковым? Почему не вышел за дверь, посмеявшись над ним, и не нашел себе более достойное занятие? Начнем с того, что к тому времени я близко познакомился с миром коммерческого искусства и усвоил, что художников моего уровня — на пятак пучок, и все они не сводят концы с концами.

Задумайтесь к тому же, чего я лишился бы: собственная комната, полный пансион, интересные поручения по всему городу и сколько угодно свободного времени, которое можно проводить с красавицей Мэрили.

Нужно быть круглым дураком, чтобы позволить чувству собственного достоинства встать на пути такого счастья!

* * *

Кстати, после смерти кухарки-гермафродита Сэм Ву, владелец прачечной, сам попросил о месте повара, и немедленно его получил. Готовил он превосходно, как незапеченную американскую еду, так и утонченные китайские кушанья, и к тому же продолжал служить Грегори моделью для зловещего преступного гения Фу Манчу.

* * *

Вернемся в настоящее.

Цирцея Берман сказала сегодня за ужином, что мне не мешало бы снова заняться живописью, раз это приносило мне когда-то столько радости.

Моя милая Эдит однажды предложила мне то же самое, и я ответил мадам Берман так же, как ответил тогда и ей: «Я устал не принимать себя всерьез».

Тогда она спросила, что в жизни профессионального художника нравилось мне больше всего — первая персональная выставка, крупные суммы за картины, принадлежность к художественному братству, похвала критика?

— Мы тогда много об этом говорили, — сказал я. — И сошлись на том, что если бы каждого из нас поместить в свою собственную ракету, набитую художественными материалами, и запустить в космос, всех в разные стороны, этого нам было бы вполне достаточно. Все, что привлекало нас в живописи — это возможность класть краску на холст.

Она ответила, что тоже могла бы удовольствоваться жизнью в космосе, при условии, что вместе с ней в ракете находилась бы законченная и выверенная рукопись ее очередной книги, а также представитель издательства.

— Не понял, — сказал я.

— Для меня момент экстаза наступает тогда, когда я получаю возможность отнести рукопись в издательство и заявить: «Прошу! Мое дело сделано, и я этот текст не желаю больше видеть», — сказала она.

* * *

Вернемся в прошлое.

Мэрили Кемп была не единственной узницей, избравшей Нору из «Кукольного дома» — прежде чем та решила, что с нее хватит. Я был заточен вместе с ней. Только потом до меня дошло вот что: еще одним пленником был Фред Джонс. Да, он выглядел так достойно, так мужественно, почитал, казалось, за честь оказывать любые услуги великому художнику Дэну Грегори — но и он исполнял роль Норы.

Во время Первой Мировой у него обнаружился талант управлять тряскими воздушными змеями, вернее — летучими пулеметными гнездами. С тех пор жизнь его мало чем радовала, но когда он впервые взялся за рукоять управления самолетом, он, вероятно, почувствовал примерно то же, что чувствовал Терри Китчен, взявший в руки краскопульт. И еще раз он почувствовал себя так же, как Китчен, в тот момент, когда нажал на гашетку пулемета там, в голубых высотах, и увидел, как другой самолет выписал в воздухе огнем и дымом спираль, которая завершилась взрывом красок далеко внизу.

Такая неожиданная, чистая красота! И так легко достижимая!

Фред Джонс сказал мне однажды, что он в жизни не видел ничего прекраснее, чем дымные следы сбитых самолетов и аэростатов. И я теперь могу сравнить его восторг по поводу спиралей, полукругов и пятен в атмосфере с восторгом Джексона Поллока, наблюдающего за поведением капающей краски в момент ее соприкосновения с расстеленным холстом.

И то, и другое счастье — схожего происхождения!

С той лишь разницей, что в случае Поллока отсутствовал главный источник радости масс — человеческие жертвы.

* * *

Но я вот что хотел сказать про Фреда Джонса: в военно-воздушных силах он нашел себе дом, так же, как мой дом был в инженерных войсках.

А потом его из этого дома выкинули, по той же причине, что и меня: он где-то лишился глаза.

Так что вот какую неожиданную новость я мог бы сообщить самому себе в молодости, если бы машина времени перенесла меня в Великую Депрессию:

— Эй, ты! Ну да, ты, самоуверенный армянский мальчишка. Ты считаешь Фреда Джонса смехотворным и жалким? Ну, так и ты будешь таким же: одноглазым старым

воякой, который боится женщин и не приспособлен к штатской жизни.

Я в то время пытался понять, каково это — жить с одним глазом вместо двух, и прикрывал иногда для пробы один глаз рукой. Мне казалось, что мир не сильно проигрывал, если глядеть на него одним глазом. Собственно, я и сейчас считаю, что выбитый глаз — не такое уж серьезное увечье.

Цирцея Берман спросила, как мне живется с одним глазом, в первый же час нашего знакомства. Она вообще может спросить кого угодно о чем угодно и когда угодно.

— Да не о чем говорить, — сказал я.

* * *

Я сейчас вспоминаю, как Мэрили и Фред Джонс с готовностью выполняли все, что требовал Дэн Грегори. Он и в самом деле напоминал, как выразился Уильям К. Филдс, индейца-недомерка, в то время как они могли бы послужить превосходными моделями для иллюстрации, в стиле Грегори, к рассказу о двух белокурых, голубоглазых тевтонских пленниках, захваченных каким-нибудь римским императором.

Интересно, что из этих пленников Грегори выводил на свои триумфы Фреда, а не Мэрили. Именно Фред сопровождал его на званые обеды, на лисью охоту в Виргинии и в плаванье на яхте «Арарат».

Я не знаю, чем это объясняется, но хочу сразу заявить, что Грегори и Фред относились друг к другу как настоящие мужчины, а не как гомосексуалисты.

Как бы то ни было, Грегори вовсе не возражал против того, что я и Мэрили подолгу бродили по всему городу — а прохожие, заметив нас, разворачивались, чтобы бросить на нее еще один взгляд, а потом и третий, и четвертый. Должно быть, они тоже не могли взять в толк, каким образом мне, явно не родственнику, досталась в спутницы настолько прекрасная женщина.

— Они думают, что мы влюблены, — сказал я ей как-то на прогулке.

— Правильно думают, — сказала она.

— Я не о том.

— А что такое, по твоему, любовь?

— Даже не знаю.

— Ну, самую главную часть ты знаешь, — сказала она.

— Вот так вот гулять, и чувствовать, как вокруг все хорошо. И даже если все остальное с тобой никогда не случится, ты не много потеряешь.

И мы пошли в музей современного искусства — в пятидесятый, наверное, раз. Я уже почти три года жил у Грегори, и мне скоро должно было исполниться двадцать. Я больше не был начинающим художником. Я служил в мастерской художника, и иметь такую работу было в то время настоящим счастьем. Огромное количество людей нанимались делать вообще что угодно, переживая таким образом Великую Депрессию, чтобы потом снова могла начаться настоящая жизнь. Однако понадобилось пережить еще одну мировую войну, прежде чем смогла начаться настоящая жизнь.

Правда, здорово? Настоящая жизнь — это, стало быть, и есть то, что у нас тут сейчас.

* * *

Но вот когда жизнь у меня точно пошла самая настоящая, так это в 1936 году, как только Дэн Грегори поймал меня и Мэрили выходящими из музея современного искусства.

КОГДА ДЭН ГРЕГОРИ поймал меня и Мэрили выходящими из музея современного искусства, в соседнем к северу квартале, на Пятой авеню, шумело и бесновалось празднество в честь дня святого Патрика. Из-за этого машина Грегори — открытый «Корд», самое прекрасное средство передвижения, когда-либо изготовленное американской промышленностью — застряла в пробке прямо перед музеем. Двухместное авто, верх откинут, за рулем — Фред Джонс, летчик-ас Первой Мировой.

Мне не довелось узнать, как Фред распоряжался своим семенем. Что-то говорит мне, что он его тоже копил, как и я. Вид у него за рулем этого божественного автомобиля был *очень* выразительный. Но к черту Фреда, у него-то все еще довольно долго будет в порядке, до самого расстрела в Египте — а я вышел в тот момент на порог настоящей жизни, и никому даже не пришло в голову поинтересоваться, готов ли я сам за себя постоять!

А вокруг все носили зеленое! Тогда, как, впрочем, и сейчас, даже негры, азиаты и правоверные евреи считали нужным в этот праздник надеть на себя что-нибудь зеленое, чтобы избежать возможных недоразумений со стороны ирландцев-католиков. И Дэн Грегори, и я, и Мэрили, и Фред Джонс — все мы были одеты в зеленое. А на кухне у Грегори остался одетый в зеленое Сэм Ву.

Грегори уставил в нас палец. Его трясло от ярости.

— Попались! — заорал он. — Ни с места! Сейчас я с вами разберусь!

Он перелез через дверцу машины, растолкал толпу на ступенях и обосновался перед нами, широко расставив

ноги и сжав кулаки. Мэрили он часто бил, но меня он не бил никогда. Как ни странно, меня вообще никто ни разу не бил. Меня вообще никто никогда *ни разу* не ударил.

Причина нашего конфликта была скорее сексуальной — контраст между молодостью и зрелостью, противостояние физической привлекательности богатству и власти, манящий отблеск запретного плода, и всякое такое, — но в лекции Грегори говорилось исключительно о благодарности, преданности и современном искусстве.

И даже не то, чтобы картины в музее были очень уж современными: большинство из них было создано еще до Первой Мировой, еще до нашего с Мэрили появления на свет! В то время изменения в живописном стиле нашему миру давались с трудом. Теперь-то, конечно, *любое* новшество немедленно возводится в разряд шедевра!

* * *

— Нахлебники! Неблагодарные твари! Испорченные, избалованные детки! — орал Дэн Грегори. — Ваш любящий папочка только одного и требовал, в знак вашей преданности: никогда не ходить в музей современного искусства!

Сомневаюсь, чтобы слышавшие его прохожие отдавали себе отчет, что вся сцена происходила перед музеем. Они скорее всего думали, что он застал нас выходящими из гостиницы, или доходного дома — откуда-то, где любовники снимают себе постели. А если принять его «папочка» буквально, то пришлось бы сделать вывод, что это — мой отец, а никак не ее, так мы с ним были похожи.

— Музей был *символом*! — продолжал он. — Неужели не ясно? Залогом того, что вы — на моей, а не на их стороне. Мне вовсе не страшно, что вы смотрели на все это барахло там, внутри. Но вы же играли за *мою* команду, и гордились этим!

Тут он замолчал, едва сдерживая слезы.

— И поэтому мои требования к вам сводились к этому простому, незатейливому, легко выполнимому обязатель-

ству: «Никогда не ходить в музей современного искусства».

* * *

Эта неожиданная встреча настолько застала меня и Мэрили врасплох, что мы, вероятно, даже не расцепили руки. Мы выбежали на улицу вприпрыжку, держась за руки, как школьники! И возможно, мы продолжали держаться за руки — как школьники.

Только сейчас я понял, что Дэн Грегори застал нас в то мгновение, когда мы, непостижимым для меня образом, сговорились пойти в постель тем вечером. Теперь я думаю, что мы были уже неуправляемы, и оказались бы там вне зависимости от того, встретили бы мы его или нет. Но до сих пор всякий раз, когда я вспоминал эту историю, я отмечал, что без встречи никакой постели бы не было.

* * *

— Мне *наплевать*, на какие картины вы смотрите, — говорил он. — Я всего лишь просил вас не оказывать уважение заведению, в стенах которого брызги, кляксы, мазня, пачкотня, рвота и выделения безумцев, дегенератов и шарлатанов считаются за великие сокровища, достойные уважения.

Сейчас, восстанавливая в памяти все, что он сказал нам тогда, много лет назад, я нахожу трогательной ту осторожность, с которой он, да и любой разъяренный мужчина, избегал в те времена в смешанной компании произносить слова, не предназначенные для детских и женских ушей — к примеру, «ебанный» и «говно».

Цирцея Берман настаивает, что включение ранее табуированных слов в повседневное общение есть благо, так как позволяет женщинам и детям не стыдиться обсуждения вопросов, связанных с телесной сферой, и таким образом более разумно подходить к личной гигиене.

— Возможно, — ответил я. — Но не кажется ли вам, что обретение этой откровенности вызвало также полный обвал в искусстве красноречия?

Я напомнил ей, что дочь кухарки привычно называет любого, кто ей не понравится, вне зависимости от причины неприязни, «жопой».

— И я ни разу не слышал, чтобы Целеста дала разумное объяснение, какие именно действия означенной личности вызвали применение этого проктологического прозвища, — сказал я.

* * *

— Из всех возможных способов меня обидеть, — продолжал Грегори, снова с британским акцентом, — вы выбрали самый жестокий. Я любил тебя как сына, — сказал он, обращаясь ко мне, — а тебя — как дочь, — обратился он к Мэрили, — и вот она, ваша благодарность. И самое обидное даже не в том, что вы туда вошли. Нет, нет. Самое обидное — это с какими *счастливыми* лицами вы оттуда вышли. Это ваше счастье — не что иное, как насмешка надо мной, и над каждым, кто когда-либо брал в руки кисть.

Он сказал, что велит Фреду отвезти себя на Остров⁵⁵, где в сухом доке стояла его яхта, «Арарат». Там он и станет жить до тех пор, пока Фред не донесет ему, что мы покинули его жилище на Сорок Восьмой улице, и что никаких следов нашего там пребывания больше не осталось.

— Вон! — закончил он. — Баба с возу — кобыле легче!

Вот такую сюрреалистичную вещь замыслил этот оплот реализма! Поселиться в восьмидесятифутовой яхте на приколе! Приходить домой по трапу, пользоваться отхожим местом и телефонной будкой на причале!

А каким фантазмагорическим созданием была его мастерская, тщательно наведенная галлюцинация, на которую ушло огромное количество сил и денег!

⁵⁵ Имеется в виду остров Рузвельта, посередине реки Ист-Ривер, разделяющей острова Манхэттен и Лонг-Айленд.

А потом он еще пристроит себя и единственного своего друга, одетых в итальянские мундиры, под английские пули!

Если не считать картин, все, что делал Дэн Грегори, имело еще меньше связи с реальностью и еще менее подчинялось здравому смыслу, чем самое передовое современное искусство!

* * *

Сводка событий из настоящего: Цирцея Берман обнаружила, подвергнув меня тщательному допросу, что я так никогда и не прочел полностью ни одной книги, написанной Полом Шлезингером, моим бывшим лучшим другом.

Она-то, как выясняется, прочла их все за то время, что живет здесь. Они у меня все есть. Стоят на отдельной почетной полочке в библиотеке, и в каждой имеется автограф, завершающий письменное свидетельство того, какими близкими людьми мы являемся уже много лет. На большинство из них я читал отзывы и, в общем, представляю, о чем там речь.

Я думаю, что Пол догадывался об этой маленькой подробности, хотя мы это никогда не обсуждали. Я не способен всерьез воспринимать его писания, зная, как безалаберно он сам к себе относится. Подумайте, ну, как я могу торжественно внимать его печатным излияниям на темы любви и ненависти, Бога и человека, целей и средств, и тому подобного? А что касается взаимности — мы в расчете. Он тоже никогда не уважал во мне художника и лекционера. И правильно не уважал.

Так что же нас тогда связывало?

Одиночество, и еще военные раны, довольно серьезные.

* * *

Цирцея Берман нарушила обет молчания относительно тайны запертого амбара для картошки. В библиотеке она откопала большой альбом с треснувшим корешком, стра-

ницы которого не только растрепаны, но и запачканы отметинами пальцев, измазанных в краске, хотя издан он всего три года назад. Этот альбом содержит практически полный набор изображений военной формы солдат, матросов и летчиков всех стран, участвовавших во Второй Мировой. Она задала мне прямой вопрос: имеет ли альбом какое-либо отношение к содержимому амбара.

— Может, да, а может, и нет, — ответил я.

Но вам я эту тайну приоткрою: о, да, о, да.

* * *

Так вот. Я и Мэрили поплелись из музея современного искусства домой, как побитые щенки. Иногда, впрочем, мы принимались смеяться — вдруг крепко обнимались и смеялись, не могли остановиться. И всю дорогу ощупывали друг друга, и результат нам ужасно нравился.

Потом мы остановились поглазеть, как двое мужчин дерутся перед входом в бар на Третьей авеню. Они рычали друг на друга на каком-то непонятном языке. Возможно, они были македонцами, или басками, или фризами, кто их знает.

Мэрили немного хромала, и вообще была слегка скошена на левый бок, потому что один армянин столкнул ее вниз по лестнице. Совершенно другой армянин теперь ласкался и прижимался к ней, и член у него стоял так, что им можно было колоть орехи. Мне нравится думать, что в тот момент мы обвенчались. В жизни всегда есть место таинству. Предположительно, мы должны были покинуть райские сады, прилепившись друг к другу, и скитаться одной плотью, терпя лишения, едины в горе и в радости.

Не знаю, почему, но мы смеялись, не переставая.

Напомню, сколько нам было лет: мне — почти двадцать, ей — двадцать семь. Мужчине, которому мы собирались наставить рога, было пятьдесят три, и жить ему оставалось всего семь лет. Мальчишка, если задуматься. Представляете, еще целых семь лет жизни!

* * *

Возможно, причиной нашего с Мэрили непрерывного смеха были сигналы от наших тел, говорящие нам, что именно то, чем мы собирались заняться, и есть для них самое естественное — в дополнение к еде, питью и сну. Мы не бунтовали, не мстили, не оскверняли. Мы не воспользовались ни той постелью, которую она делила с Грегори, ни постелью Фреда Джонса в соседней комнате, ни той, что стояла в безупречной французской спальне для гостей, ни даже моей собственной кроватью, при том, что нам принадлежал весь дом, за исключением разве что подвала, поскольку единственным его обитателем в тот момент, кроме нас, был Фу Манчу. Наши вдохновенные любовные игры в каком-то смысле предвосхитили абстрактный экспрессионизм, будучи совершенно ни о чем, кроме себя самих.

Я вспоминаю слова художника Джима Брукса о том, как он действует, как действовали все абстрактные экспрессионисты:

— Я набираю краску и делаю первый мазок. После этого холст обязан взять на себя по меньшей мере половину работы.

Если все складывалось удачно, то холст, после этого первого мазка, начинал предлагать те или иные действия, а порой даже требовать их. В случае со мной и Мэрили первым мазком явился поцелуй на пороге входной двери — широкий, влажный, горячий, до смешного неряшливый.

Куда там какой-то краске!

* * *

Наш холст потребовал от нас еще и еще поцелуев, более и более жарких, а потом заставил нас пройтись, не отрываясь друг от друга, в запинаящемся, шатающемся танго вверх по лестнице и через парадную столовую. Тут мы опрокинули стул, но водрузили его на место. Теперь холст взял на себя не половину, а всю работу, и провел нас насквозь через кладовку в заброшенный чулан, шесть на четыре фута. Единственной обстановкой в нем оказался

дряхлый диван, должно быть, брошенный предыдущими хозяевами. Крохотное окошко выходило на север, открывая вид на голые верхушки деревьев во дворе.

Дальнейших подсказок по завершению этого шедевра нам от холста уже не требовалось. И мы его завершили.

* * *

И мои собственные действия также не нуждались в подсказке от старшей, более опытной женщины.

В яблочко, и в яблочко, и снова в яблочко!

Передо мной раскрывалось мое прошлое! Я, оказываюсь, давно занимался этим, всю свою жизнь! А еще передо мной раскрывалось будущее! Я буду заниматься этим как можно чаще, всю свою жизнь!

Так и случилось. Но так хорошо, как в тот раз, больше никогда не было.

Тот большой холст, который мы называем жизнью, никогда больше не поможет мне и партнеру создать в постели шедевр.

Таким образом, Рабо Карабекян создал по крайней мере один шедевр — в качестве любовника. Его, разумеется, никто не увидел, и он исчез с лица земли даже быстрее, чем полотна, которыми я заработал себе на сноску в истории живописи. Есть ли на свете что-нибудь, сделанное мною, что меня переживет, если не считать заслуженного порицания, исходящего от моей первой жены, моих детей и моих внуков?

Разве мне не все равно?

А что, кому-то все равно?

Бедный я, бедный. Бедные, собственно, вообще все. Мы оставляем за собой так мало долговечного.

* * *

После войны я рассказал Терри Китчену о трех часах идеальных игр с Мэрили, и о том, каким блаженно затерянным в пустоте я себя потом чувствовал, и он заявил:

— Тебя посетило богоявление.

— Что-что?

— Я сам до этого дошел, — сказал он. Это происходило еще в те времена, когда он занимался разговорами, а не живописью, задолго до покупки краскопульты. Если на то пошло, то и я был тогда всего лишь болтуном, увязавшимся за художниками. Я все еще считал, что стану предпринимателем.

— Вся проблема с Богом вовсе не в том, что Он слишком редко удостоивает нас своим вниманием, — продолжал он. — Проблема тут прямо обратная: Он держит нас — тебя, меня, всех остальных — за шкуру непрерывно, почти не отпуская.

Он рассказал мне, что только что провел несколько часов в музее Метрополитен, где на картинах Бог постоянно кому-то что-то указывал — Адаму и Еве, пресвятой Богородице, разнообразным святым, испытывающим мучения, и так далее.

— Если верить художникам, такие моменты случаются крайне редко, но какой же идиот когда верил художникам? — сказал он и спросил у бармена еще двойную порцию виски, за которую я, разумеется, впоследствии заплачу. — Называются они «откровениями», или «богоявлением», и поверь мне, что как раз их-то в жизни — как грязи.

— Ага, — сказал я. Кажется, нас слушал тогда еще и Поллок, хотя мы с ним и Китченом еще не получили прозвище «Три мушкетера». Он уже был настоящим художником, поэтому почти не говорил. Когда Терри Китчен стал настоящим художником, он тоже перестал говорить.

— Значит, «блаженно затерянный в пустоте»? — сказал мне Китчен. — Превосходное описание богоявления, редчайшего состояния, когда всемогущий Господь отпускает твой воротник и дает тебе немножечко просто побыть человеком. Сколько времени это продолжалось?

— Ну, с полчаса примерно, — ответил я.

Он отклонился на табурете назад и произнес удовлетворенно:

— Вот и я о чем.

* * *

Вполне возможно, что в тот же день, когда происходил этот разговор, я и снял мастерскую для нас двоих у одного фотографа, на верхнем этаже здания, выходящего на Юнион-сквер. Метраж на Манхэттене в те времена стоил гроши. Художники в самом деле могли себе позволить жить в Нью-Йорке! Представляете?

Подписав договор на мастерскую, я сказал ему:

— Если моя жена узнает об этом, она меня убьет.

— Обеспечь ей семь богоявлений в неделю, — сказал он, — и в качестве благодарности она позволит тебе все, что угодно.

— Легко сказать, — ответил я.

* * *

Та же самая толпа, которая убеждена, что книги Полли Мэдисон, авторства Цирцеи Берман, подрывают основы американского общества, рассказывая девочкам-подросткам, что они могут по неосторожности забеременеть — так вот, эти самые люди наверняка сочли бы теорию богоявлений Китчена богохульной. Но я не знаком с человеком, который более усердно старался бы найти и выполнить задание, предписанное ему Господом, чем Терри. Он мог бы сделать блестящую карьеру в юриспруденции, и одновременно в бизнесе, в банковском деле и в политике. Он великолепно играл на фортепиано, был отличным спортсменом. Он мог также остаться в армии, и вскоре дослужиться до генерала — возможно, даже до начальника штаба объединенного командования.

Но в тот момент, когда я его встретил, он забросил все эти занятия, чтобы стать художником, несмотря на то, что рисовал он, как курица лапой, и даже ни разу в жизни не взял ни одного урока!

— Есть же в этом мире что-то стоящее, наконец, — говорил он. — А живопись — одна из немногих вещей, которые я еще не пробовал.

Я знаю, что многие считают, будто Терри был способен и на реалистические картины, если бы ему только захотелось их рисовать. Однако в качестве доказательства они предъявляют лишь небольшой участок на том его холсте, который висел до недавнего времени в моей прихожей. Он сам никак не называл эту картину, но ее общепринятое имя — «Потайное окно».

Если не считать этого участка, картина представляет собой типичное произведение Китчена — выполненный при помощи распылителя вид со спутника на красочный атмосферный циклон, или что-то в этом роде. Но на крохотном кусочке, если в него пристально взглядеться, помещена перевернутая вниз головой копия «Портрета мадам Х.» Джона Сарджента, в полный рост, включая и горбоносый профиль, и матовые плечи, и все остальное.

Прошу прощения, друзья: авторство этой прихотливой вставки, этого потайного окна, не принадлежит Терри, и не могло ему принадлежать. Нарисована она была по его настоятельной просьбе одним халтурщиком от живописи, по имени — кто бы мог подумать — Рабо Карабекян⁵⁶.

Терри Китчен потом сказал мне, что сам он ощущал богоневяления, то есть, что Господь на время оставил его в покое, только после любовных игр, а также в те два раза, когда он принимал героин.

⁵⁶ В одном из интервью Воннегут рассказывает, что ученические наброски Поллока, выставляемые обычно в качестве доказательства его умения рисовать, на самом деле сильно исправлены его преподавателями.

СВОДКА СОБЫТИЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО: Пол Шлезингер отбыл не куда-нибудь, а в Польшу. В утренней «Нью-Йорк Таймс» написали, что его туда отправила международная организация писателей под названием «ПЕН-клуб» — в составе делегации по расследованию положения его тамошних коллег, изнывающих под пятой режима⁵⁷.

Может быть, полякам стоит в свою очередь заняться расследованием его положения. Какому из писателей хуже: тому, которому полиция затыкает рот, или же совершенно свободному, но которому больше нечего сказать?

* * *

Сводка событий из настоящего: вдовица Берман установила точно по центру моей гостиной бильярдный стол, а вытесненную им мебель отправила на склад «Мой милый дом». Не стол, а бегемот какой-то: весит столько, что из подвала его пришлось подпереть костылями, иначе он провалился бы туда, к банкам с «Атласной Дюра-люкс».

Я не брал в руки кий с тех пор, как вышел в запас, да и в армии играл так себе. Но как мадам Берман разгоняет шары по лузам, где бы они ни находились — это надо видеть!

— И где же это вы научились так играть? — спросил я.

⁵⁷ Автобиографическая деталь — Воннегут побывал в Польше (и в СССР) по направлению ПЕН-клуба.

Она объяснила мне, что после самоубийства отца она ушла из школы, но вместо того, чтобы спиться или пойти по рукам у себя в Лакаванне, стала проводить по десять часов в день в бильярдной.

Я в качестве партнера ей не нужен. Ей, собственно, партнер вовсе не нужен, как не был нужен, я полагаю, и тогда в Лакаванне. Но иногда, как ни странно, ни с того ни с сего она вдруг может растерять всю свою убийственную меткость, разеваться и начать почесываться, будто ее кто-то покусал. Тогда она идет к себе, ложится в постель и может проспать до следующего полудня.

Еще ни у одной женщины я не встречал такой резкой перемены настроений!

* * *

Но как же быть с прозрачными намеками, которые я делаю тут касательно тайны амбара для картошки? Она же сможет прочесть рукопись и обо всем догадаться?

Нет.

Обещания свои она держит, а она мне пообещала еще в самом начале, что как только я доберусь до сто пятидесятой страницы⁵⁸, если я вообще доберусь до сто пятидесятой страницы, она вознаградит меня, когда я пишу в этой комнате, полным одиночеством.

Она пояснила, что когда я зайду так далеко, если я зайду так далеко, мы с книгой станем слишком близкими друг другу, и ей вмешиваться в наши отношения будет уже неприлично. С одной стороны, конечно, приятно упорным трудом добиться определенных привилегий, признания своих заслуг, так сказать, но вот какая мысль постоянно приходит мне в голову: «А кто она, собственно, такая, чтобы выдавать мне вознаграждения и назначать наказания? Это вообще что — детский сад, или, может, тюрьма?».

⁵⁸ В первый раз Рабо упоминает о содержимом амбара (вернее, о заляпанном красками альбоме с изображениями военной формы) на странице 180 стандартного американского издания.

Вслух я ничего подобного, разумеется, не высказываю. А то вдруг она передумает про привилегии.

* * *

Двое щеголеватых молодых немцев из Франкфурта прибыли вчера после обеда для осмотра моей выдающейся коллекции. Типичные успешные предприниматели послевоенного времени, так что история для них — чистая страница. Такие новенькие-новенькие. Они говорили с тем же благородно-британским акцентом, что и Дэн Грегори, но сразу же осведомились, понимаем ли я и Цирцея немецкий. Как вскоре выяснилось, им было важно знать, могут ли они спокойно переговариваться между собой так, чтобы при этом их никто не понимал. Мы с Цирцеей сказали, что не понимаем. На самом деле она свободно говорит на идиш, и поэтому понимала почти все — как, впрочем, и я, поскольку наслушался достаточно немецкого в бытность военнопленным⁵⁹.

Вот что нам удалось установить из их зашифрованных переговоров: они всего лишь притворялись, что их интересуют мои картины. Интересовала их моя недвижимость. Они приехали разведать, не пришло ли случайно в упадок мое состояние, как физическое и умственное, так и финансовое — что позволило бы им выначить у меня мой бесценный океанский пляж и счастливым образом застроить его под кооператив.

Пришлось их немного огорчить. А когда их спортивный «Мерседес» скрылся из виду, вот что Цирцея, дочь еврея-портного, сказала мне, сыну армянина-сапожника:

— Теперь индейцы — это *мы*.

* * *

⁵⁹ Попав в плен, Воннегут был из-за своих познаний в немецком назначен старшим по подразделению, но пробыл в этой должности недолго, так как довольно скоро в резких выражениях объяснил охранникам, что именно он с ними сделает, когда война закончится и его освободят.

Как я упомянул, эти деятели приезжали из Западной Германии, но с таким же успехом могли бы оказаться и моими соотечественниками, соседями по пляжу. Я теперь думаю, не в этом ли состоит определяющая особенность отношения к миру у людей, меня окружающих: что перед ними все еще простирается девственный материк, а все остальные — всего лишь индейцы, которым невдомек его истинная ценность, и у которых недостает сил и умения себя защитить?

* * *

Боюсь, что самая постыдная тайна этой страны заключается в том, что слишком много ее обитателей воображают себя представителями намного более просвещенной цивилизации, непонятно откуда взявшейся. Причем обязательно, чтобы родина этой цивилизации находилась в другой стране. Она может быть, например, нашим прошлым — Америкой, которая существовала до того, как иммигранты и избирательное право для чернокожих все в ней испортили.

И эта особенность сознания позволяет слишком многим из нас спокойно обманывать, обсчитывать и обворовывать остальных, продавать им барахло, развращать развлечением и травить ядами, которых хочется еще и еще. В самом деле, на что еще годятся все эти туземцы-недочеловеки?

* * *

Также эта особенность сознания объясняет наши похоронные церемонии. Если задуматься, то вот что они чаще всего пытаются до нас донести: усопший вдоволь пограбил в чужих землях, и возвращается наконец к себе домой, нагруженный золотом Эльдорадо.

* * *

Но вернемся же в 1936 год! Значит, так.

Наше с Мэрили богонявление быстро улетучилось. Мы выжали из него все, что смогли. Крепко ухватив друг друга повыше локтя, мы ощупывали то, что оказалось под пальцами, на этот раз в порядке, так сказать, фундаментального исследования физического устройства агрегатов, называемых людьми. Мы обнаружили теплую, упругую субстанцию, натянутую на что-то вроде каркаса.

Потом мы услышали, что парадная дверь внизу открылась и снова закрылась. Как выразился однажды Терри Китчен, описывая свое собственное состояние в постели: «Откровение вернулось, все оделись и снова засуетились, как куры с отрубленными головами».

* * *

Пока мы одевались, я прошептал Мэрили, что я ее ужасно люблю. А что еще я мог сказать?

— Ничего подобного, — сказала она. Она обращалась со мной так, будто мы не были знакомы.

— Я стану таким же великим рисовальщиком.

— Только с какой-нибудь другой женщиной, — отозвалась она. — Не со мной.

Мы только что так играли, и вдруг она делает вид, что я не пойми кто, и пристаю к ней на людях.

— Я что-то не так сделал? — спросил я.

— Ничего ты не сделал, ни так, ни не так, и я тоже.

Она остановилась и взглянула мне прямо в глаза. Они оба были еще целы.

— Ничего не было, — сказала она.

И продолжила приводить себя в порядок.

— Тебе сейчас хорошо? — спросила она.

Я заверил ее, что мне очень хорошо.

— Мне тоже, — сказала она. — Но это скоро пройдет.

Вот это, я понимаю, реализм!

Я-то думал, что мы заключили договор о постоянном сожительстве. Многие ведь придают половым сношениям именно такой смысл. Я также думал, что Мэрили понесла от меня ребенка. Тогда я еще не знал, что во время аборта в якобы безупречно стерильной Швейцарии она подцепила

инфекцию, сделавшую ее бесплодной⁶⁰. Я вообще много чего не знал о ней тогда, и узнал только через четырнадцать лет!

— И куда мы теперь пойдем? — спросил я.

— Куда *кто* теперь пойдет?

— Мы.

— То есть, вдвоем храбро покинем эти гостеприимные стены, держась за руки, с улыбкой на лице? Готовый сюжет для оперы, тебе понравится.

— Оперы?

— Прекрасная и опытная любовница великого художника, который вдвое ее старше, соблазняет его подмастерье, почти годящегося ей в сыновья, — пояснила она.

— Их связь раскрывается. Они изгнаны и принуждены искать свое собственное место в мире. Она уверена, что ее любовь и мудрость помогут мальчишке тоже стать великим художником. И тут они замерзают на улице насмерть.

И ведь именно так бы оно и случилось.

* * *

— Ты уходишь, а я остаюсь, — объявила она. — Я скопила немного денег, тебе их хватит на пару недель. Тебе в любом случае пора было уходить. Ты здесь слишком удобно устроился.

— После того, что только что случилось, как же мы можем расстаться? — спросил я.

— На это время все часы остановились, — сказала она, — а теперь они снова пошли. Ничего не было, забудь.

— Как это — *забудь*?

— А вот так. Я уже забыла. Ты еще ребенок, а мне нужен мужчина, который мог бы обо мне заботиться. Дэн — мужчина.

⁶⁰ В нескольких произведениях Воннегута человечество вымирает вследствие какого-нибудь апокалипсического события; в романе «Galapagos» это событие — инфекция, делающая всех женщин бесплодными.

Озадаченный и опозоренный, я поплелся к себе в комнату. Там я собрал свое имущество. Она не вышла меня проводить. Я понятия не имел, в какую комнату она пошла, чем занималась. Меня не провожал никто.

И на закате дня святого Патрика в 1936 году я покинул этот дом навсегда, даже не оглянувшись на горгону, украшавшую парадную дверь Дэна Грегори.

* * *

Первую самостоятельную ночь я провел за углом, в приюте Содружества Юных Христиан. От нее я не получал никаких известий в течение четырнадцати лет. Я решил тогда, что она испытывает меня, ожидая, что я сказочно разбогатею, вернусь и отберу ее у Дэна Грегори. Мое воображение рисовало мне эти картины примерно с месяц, а то и два. В рассказах, которые иллюстрировал Дэн Грегори, подобное случалось на каждом шагу.

Она, стало быть, отказывается меня видеть, пока я не докажу, что достоин ее. Когда Дэн Грегори от меня избавился, он как раз работал над новым изданием «Короля Артура и рыцарей Круглого Стола». Мэрили служила ему моделью для Джиневры. Я должен был добыть ей Грааль.

* * *

Великая Депрессия очень скоро объяснила мне, что я ничего и никогда в жизни не достигну. У меня не хватало средств даже на собственное жалкое пропитание, на крышу над головой, и я, нищий среди нищих, нередко оказывался в очередях за бесплатным супом и на ночлежных нарах. Библиотеки давали мне возможность одновременно получить образование и отогреться, и я читал так называемые «великие» романы, стихи и хроники, а вместе с ними — энциклопедии, словари и новинки из области самосовершенствования: как в Америке всего добиться, как учиться на ошибках, как нравиться незнакомым людям, как преуспеть в бизнесе, как продать кому угодно что

угодно, как вверить себя руке Божьей и перестать тратить время и силы на пустое беспокойство. Как правильно питаться.

Будучи продуктом своего времени, и питомцем Дэна Грегори, я все увеличивал свой словарный запас, знакомился с великими достижениями, важными событиями и ключевыми фигурами в истории человечества, пытаюсь сравниться в образованности с выпускниками знаменитых университетов. Более того, говорил я с тем же искусственным акцентом, что и Дэн Грегори — и, кстати, Мэрили. Ни я, ни Мэрили — между прочим, сын сапожника-армянина и дочь шахтера — никогда не пытались изображать из себя представителей английского высшего общества. Мы лишь скрадывали свое незавидное происхождение при помощи произношения и манер, которым тогда, насколько я помню, не было собственного наименования, но которые теперь называют «атлантическими» — изящных, ласкающих слух, расположенных где-то между Англией и Америкой. В этом мы были братом и сестрой: разговаривали мы одинаково.

* * *

И пока я шатался по Нью-Йорку, исполненный знаний и способный их так элегантно изложить, но при этом одинокий и, как правило, голодный и замерзший, до меня, наконец, дошла жестокая шутка, притаившаяся во главе всей американской индустрии самосовершенствования: смысл образования вовсе не в учености — учили-то в лучших университетах как раз чему-нибудь и как-нибудь. Истинная ценность университетов в том, что они предоставляют пожизненное членство в уважаемой искусственной семье.

* * *

Родители мои принадлежали к естественным семьям, и немаленьким, которые считались уважаемыми среди армян в Турции. Я же, родившийся в Америке, вдали от всех

остальных армян, если не считать родителей, в конце концов был принят последовательно в две семьи, вполне уважаемые, хотя, конечно, далеко не столь общественно значимые, как Гарвард и Йель:

1. Офицерский состав вооруженных сил США, во время войны, и

2. Художники абстрактно-экспрессионистической школы, после окончания войны.

Ни в одном из тех мест, куда я когда-то приходил с поручениями от Дэна Грегори, на работу меня не взяли. Я, конечно, не могу ничего доказать, но подозреваю, что он выставил меня перед ними самовлюбленным, бесчестным, бездарным и так далее. В этом он был прав. К тому же рабочих мест и так не хватало, так с какой стати хозяева стали бы тратить их на армянина — существо, настолько непохожее на них самих? Предоставим армянам самим заботиться о своих безработных.

И в самом деле, именно армянин пришел ко мне на помощь, пока я за стакан кофе рисовал шаржи для всех желающих в Центральном Парке — причем армянин не российский и не турецкий, а из Болгарии. Родители вывезли его во Францию, в Париж, когда он был еще младенцем. Они, вместе с ним, присоединились к процветающей, полной жизни армянской общине в этом городе, столице мирового искусства того времени. Как я уже упоминал, мои родители, вместе со мной, тоже стали бы парижанами, если бы жулик Вартан Мамиконян не перенаправил нас в Сан-Игнасио. Настоящее имя моего спасителя было Мкртич Куюмджян, но во Франции он превратился в Марка Кулона.

Кулоны были, и остаются, титанами индустрии туризма⁶¹, их представительства разбросаны по всему миру, они

⁶¹ Скорее всего, аллюзия к «конторе Кука» — компании «Томас Кук и сын». Ее основатель был однофамильцем знаменитого путешественника (Джеймса Кука); французская фамилия Кулон (Coulomb) напоминает о Колумбе.

могут устроить путешествие куда угодно. Двадцатипятилетний Марк Кулон, который завел со мной разговор в Центральном Парке, был послан из Парижа с заданием присмотреть рекламное агентство для продвижения услуг семейного предприятия в США. Он похвалил мое владение карандашом, но заявил, что если я хочу стать настоящим художником, мне необходимо переселяться в Париж.

Будущее, разумеется, таило в себе насмешку: я через какое-то время войду в небольшую семью художников, которые переведут столицу мирового искусства из Парижа в Нью-Йорк.

Действуя, я полагаю, исключительно из соображений национальной предвзятости, как армянин, помогающий армянину, он купил мне костюм, рубашку, галстук, пару новых туфель, а потом привел меня в выбранное им рекламное агентство, «Ляйдвельд и Мур». Там он заявил, что его фирма готова подписать с ними контракт, если они возьмут меня в штат художником. Что они и сделали.

Больше я его никогда не видел. Но вот какая штука. Сегодня утром, как раз когда я, впервые за столетия, вспомнил о существовании Марка Кулона, «Нью-Йорк Таймс» публикует его некролог. Оказывается, он был потом героем Сопrotивления, а умер председателем правления «Кулон Фрер э Сье», самой широко представленной в мире туристической компании.

Представляете, какое совпадение? Но не более того, конечно. Не стоит принимать подобные вещи всерьез.

* * *

Сводка событий из настоящего: Цирцея Берман свихнулась на танцах. Она подцепляет кого-нибудь, кого угодно, независимо от возраста и социального положения, в качестве сопровождающего, и не пропускает ни одного бала в радиусе тридцати миль, будь то хоть благотворительный вечер в пользу местной пожарной команды. Недавно она заявила домой к трем часам ночи, в пожарной каске.

Она все время пристает ко мне, чтобы я записался на уроки танцев в Ист-Квог.

— Я не собираюсь приносить в жертву остатки собственного достоинства на алтаре Терпсихоры, — сказал я ей.

* * *

Работая в «Ляйдвельд и Мур», я достиг определенного процветания. Именно там я и нарисовал прекраснейший винтовой корабль на свете, лайнер «Нормандия». На переднем плане я поместил прекраснейший автомобиль на свете, открытый «Корд». На заднем плане возвышался прекраснейший небоскреб на свете, здание компании «Крайслер». Из «Корда» выходила прекраснейшая актриса на свете, Мадлен Кэрролл. В какое прекрасное время мне довелось жить!

Улучшения в условиях питания и обитания сослужили мне медвежью услугу, побудив меня отправиться как-то вечером в Учебное Творческое Объединение, с папкой подмышкой. Я собрался выучиться на настоящего художника, и представил себя и свои работы на суд преподавателя по имени Нельсон Зауэрбек — предметного живописца, как и почти все учителя живописи в то время. Известен он был в основном своими портретами, и работы его до сих пор висят, насколько я знаю, по крайней мере в одном здании — Нью-йоркского университета, моей *alma mater*. Он написал портреты двух ректоров этого заведения, еще до того, как я там учился, подарив им таким образом бессмертие, возможное только на картинах.

* * *

В комнате с десятком учеников корпели за мольбертами, изображая обнаженную натуру. Мне очень захотелось к ним присоединиться. Это было так похоже на счастливую семью, а я в ней так нуждался. В семью «Ляйдвельд и Мур» меня не приняли. Многие обиделись на то, каким образом я получил там место.

Зауэрбек был староват для учителя — на вид ему было лет шестьдесят пять. От начальника художественного отдела нашей рекламной конторы, который когда-то у него занимался, я знал, что родился он в Цинциннати, но большую часть сознательной жизни провел в Европе, как и большинство американских художников того времени. Он был такой старый, что успел пообщаться, пусть и недолго, с Уистлером, Генри Джеймсом, Золя и Сезанном! Он также утверждал, что был знаком с Гитлером, тогда еще полуголодным художником, в Вене перед Первой Мировой.

Старик Зауэрбек, должно быть, сам дошел до состояния полуголодного художника, иначе ему не пришлось бы в таком почтенном возрасте учить посетителей Творческого Объединения. Мне так и не удалось установить, что с ним стало потом. То ли был он, то ли нет.

Отношения у нас не сложились. Он пролистал работы в моей папке, бормоча себе под нос, так что остальные ученики, к счастью, ничего не слышали: «О-хо-хо», «Бедняжка», и «Кто это тебя так — или это ты сам?»

Я спросил его, что же, в конце концов, не так, и он ответил:

— Я не уверен, что могу описать это словами.

Он всерьез задумался.

— Наверное, это прозвучит странно, — выговорил он наконец, — но дело в том, что с точки зрения техники для тебя не существует ничего невозможного. Я понятно говорю?

— Нет, — сказал я.

— Мне самому тоже не очень понятно, — сказал он, сморщившись. — Мне кажется... кажется, что для художника очень важно... Вернее, для художника даже необходимо примириться на холсте со всем тем, чего он сделать никогда не сможет. Именно это и привлекает нас в серьезных картинах — эта вот видимая невозможность, которую иногда называют «индивидуальностью», а иногда даже «болью».

— Ясно, — сказал я.

Он облегченно вздохнул.

— Похоже, что мне теперь тоже ясно. Никогда раньше не приходилось это выражать словами. Вот интересно!

— Я так и не понял, принимаете вы меня или нет, — сказал я.

— Нет, не принимаю, — ответил он. — Принять тебя было бы нечестно по отношению к нам обоим.

Я разозлился.

— Вы меня выставляете из-за какой-то слепленной на ходу красивой теории?

— Нет-нет. Решение я принял еще до того, как придумал теорию.

— На основании чего?

— На основании самого первого рисунка в папке. «Перед тобой человек, лишенный страсти», сказал он мне. И тогда я задал самому себе вопрос, который теперь задаю тебе: «Зачем я стану учить его говорить на языке живописи, если он не горит желанием что-то сказать?».

* * *

Все непросто!

Тогда я решил записаться на писательский кружок — его три раза в неделю вел в Сити-колледж довольно известный мастер рассказа по имени Мартин Шуп. В его рассказах описывалась жизнь чернокожих людей, хотя сам он был белым. Дэн Грегори к некоторым из этих рассказов даже нарисовал иллюстрации, проявив при этом неизменную радость и заботу по отношению к существам, которых держал за обезьян.

Мне Шуп сказал, что я в писательстве не достигну ничего, пока мне не захочется описывать, как что-то выглядит — в особенности же лица людей. Он знал, что я умею рисовать, и потому ему казалось странным, что мне не хочется подробно и непрерывно расписывать, как что-то выглядит.

— Для умеющего рисовать, — сказал я, — описывать внешний вид чего-либо при помощи слов — все равно, что готовить праздничный обед из стальных шариков и битого стекла.

— В таком случае вам следует покинуть этот кружок,
— заявил он.

Я так и сделал.

Что стало потом с Мартином Шупом, я тоже понятия не имею. Может, погиб на войне. Цирцея Берман никогда о нем не слыхала. То ли был он, то ли нет.

* * *

Сводка событий из настоящего: Пол Шлезингер, который, кстати, время от времени сам ведет писательские семинары, вернулся, да еще как! Он, похоже, всем все простил, и крепко спит сейчас в комнате наверху. Когда он проснется — что будет, то будет.

Спасательная команда добровольной пожарной бригады⁶² поселка Спрингс доставила его вчера около полуночи. Он перебудил всех соседей воплями о помощи, которые издавал из окон своего дома — возможно, перепробовал для этого все окна, которыми владел, поочередно. Спасательная команда хотела забрать его в больницу при Министерстве Обороны, в Риверхэд. Все прекрасно знали, что он — ветеран войны. Все прекрасно знают, что я — ветеран войны.

Но он успокоился немного и пообещал спасателям, что все будет хорошо, как только его привезут сюда. Они позвонили в дверь, и я принял их в прихожей, в окружении девочек на качелях. Человеколюбивые добровольцы мягко, но крепко придерживали смирительную рубашку, внутри которой буйствовало мясо Пола Шлезингера. Они ожидали от меня разрешения его развязать и посмотреть, что будет дальше.

К этому времени вниз спустилась Цирцея Берман. Мы оба были уже в ночных халатах. Люди, внезапно оказав-

⁶² Воннегут считал работу добровольных пожарных бригад «единственным известным в нашей стране примером самозабвенного альтруизма». Он и сам состоял в такой бригаде, пока работал на General Electric в Скенектеди, а также записал в нее главного героя книги «God Bless You, Mr. Rosewater».

шиеся лицом к лицу с сумасшедшим, иногда странно себя ведут. Цирцея внимательно посмотрела на Шлезингера, повернулась к нам спиной и принялась поправлять рамы картин с девочками на качелях. Стало быть, вот чего боялась эта, казалось бы, бесстрашная женщина. Ее приводило в ужас безумие.

Безумцы для нее — все равно, что горгоны. Стоит ей на них посмотреть, как она обращается в камень. За этим наверняка что-то скрывается.

РАЗМОТАННЫЙ ШЛЕЗИНГЕР был тих, как агнец.

— Уложите меня спать, — попросил он, и назвал комнату, которую хотел бы занять — на втором этаже, с «Замерзшими звуками №7» Адольфа Готлиба⁶³ над камином и с эркером, из которого открывается вид на дюны и океан. Он потребовал именно эту комнату, и никакую другую, и вел себя так, будто имел полное право в ней расположиться. Стало быть, он предавался подробным мечтам о вселении в мой дом по крайней мере несколько часов, а то и десятилетий. Я был его страховым полисом. Когда придет время, можно прекратить бороться, поднять руки вверх, и его доставят в дом восхитительно богатого армянина прямо на пляже.

Он, кстати, происходит из весьма старинного американского рода. Первым Шлязингером на этой стороне океана был гессенский гренадер, наемник в армии генерала Джона Бергойна, британского военачальника, потерпевшего поражение от войск под командованием, в том числе, генерала Бенедикта Арнольда, в то время примкнувшего к повстанцам, а впоследствии переметнувшегося на сторону англичан, во втором сражении при Саратогге, к северу от Олбани, две сотни лет назад. Предок Пола Шлезингера попал в этой битве в плен, и так и не вернулся

⁶³ В начале 1950-х Готлиб написал два абстрактных «пейзажа» под названием «Замерзшие звуки №1» и «Замерзшие звуки №2» (сейчас в музеях Уитни и Альберт-Нокса, соответственно); эта серия никогда не достигла 7 картин.

домой в Германию, в город Висбаден, где родился в семье — кого бы вы думали? Сапожника.

* * *

" Сапог пошлет Бог деткам своим."

— Старый негритянский спиричуэл.

* * *

Признаюсь, что вдовица Берман в ту ночь, когда Шлезингер заявился ко мне в смиренной рубашке, напугала меня гораздо сильнее, чем он. Выпущенный на свободу спасателями в моей прихожей, он оказался всего лишь старым добрым Шлезингером. Но Цирцею в состоянии почти полного оцепенения я не видел еще ни разу.

Так что я уложил Шлезингера в постель самостоятельно. Раздевать его я не стал. На нем и так было надето немного — семейные трусы да майка с надписью «Шорхэм — нет!». Шорхэм — это атомная электростанция неподалеку отсюда. Если в ней что-то сработает не так, как надо, то погибнет несколько сот тысяч человек, а Лонг-Айленд на пару столетий превратится в необитаемую пустыню. Очень многие протестовали против ее строительства⁶⁴. Очень многие приветствовали ее строительство. Лично я стараюсь вовсе о ней не думать.

Видел я ее только на фотографиях, но вот что я могу сказать. Никогда в жизни я не лицезрел произведение архитектуры, которое бы с большей убедительностью рассылало во все стороны следующее сообщение: «Я — с другой планеты. Мне без разницы, кто вы такие, что вам

⁶⁴ Постройка станции была закончена в 1984 году, но она так и не была введена в эксплуатацию вследствие упорных протестов (после катастрофы на станции Три-Майл в 1979 и, с новой силой, Чернобыля в 1986). В начале 1989 года, то есть, через год с небольшим после событий, описанных в романе, закрыта окончательно, хотя и не демонтирована.

нужно, что вы тут делаете. Все, ребята, это теперь мое место».

* * *

Хорошим подзаголовком для этой книги было бы «Откровения армянина с задержкой в развитии, или До всех остальных давно дошло». Представьте себе, до прибытия в дом Шлезингера я даже *не подозревал*, что вдовица Берман прочно сидит на таблетках.

Я уложил его в постель, укрыл простыней из лучшего бельгийского льна до самого кончика его гессенского носа, и мне пришло в голову, что ему не помешала бы таблетка снотворного. У меня их не водится, но я надеялся, что смогу позаимствовать парочку у мадам Берман.

Дверь в ее комнату была распахнута, и я решил ее навестить. Она сидела на краешке кровати, уставившись прямо перед собой. Я спросил у нее про снотворное, а она сказала мне взять самому все, что мне захочется, в ванной. Я в эту ванную ни разу не заходил с тех пор, как она у меня поселилась. Собственно, теперь мне кажется, что я не заходил туда уже много лет. Вполне возможно, что я в этой ванной вообще никогда прежде на бывал.

Боже мой, видели бы вы, сколько у нее таблеток! Насколько я понял, это все образцы, которые представители фармацевтических компаний высылали ее покойному мужу-врачу. Она их копила десятилетиями! В шкафчик для лекарств не влезла бы даже малая их доля! Вокруг раковины там мраморная полка, футов пять в ширину и по меньшей мере два в глубину, и на ней выстроились целые *батальоны* пузырьков! У меня будто глаза раскрылись! Все сразу разъяснилось — и странное приветствие при первой встрече на пляже, и внезапная переделка прихожей, и безупречная игра на бильярде, и помешательство на танцах, и многое, многое другое.

Так какому из пациентов я был более необходим той ночью?

Ну, для особы, торчащей на таблетках, я не мог сделать ничего, что бы она не смогла сделать сама, лучше ли, хуже

ли. Так что я вернулся с пустыми руками к Шлезингеру, и мы немного поговорили о его путешествии в Польшу. А что? Чем бы дитя ни тешилось.

* * *

Вот какое решение проблемы наркомании в Америке предложила пару лет назад жена нашего президента: «Просто скажи "нет"»⁶⁵.

* * *

Возможно, мадам Берман и могла сказать «нет» своим таблеткам, но вот бедняга Шлезингер ничего не мог сказать собственному телу, которое само производило опасные химические соединения и выбрасывало их ему в кровь⁶⁶. Ему ничего не оставалось делать, как думать странные мысли. Я какое-то время сидел и слушал, пока он с жаром объяснял, как прекрасно ему писалось бы, если бы только удалось уйти в подполье или угодить в польскую тюрьму, а также что книги Полли Мэдисон – величайшее явление в литературе со времен «Дон Кихота».

Один раз он ему удалось ее здорово поддеть, хотя я сомневаюсь, что он имел это в виду, уж слишком восторженный вид был у него в этот момент. Он назвал ее «Гомером для девчонок в гольфах».

⁶⁵ Жена Рональда Рейгана Нэнси действительно выработала и лично продвигала этот лозунг в рамках всеамериканской кампании, направленной против не только наркотиков, но и насилия, добрачного секса и т.п.

⁶⁶ Этот мотив – психологические отклонения, обусловленные химией – встречается почти во всех романах Воннегута (наиболее полно – в книге «Завтрак чемпионов»). Сам он по образованию (незаконченному) биохимик. Его сын Марк, врач-педиатр, слова которого приведены в эпиграфе, страдал от шизофрении и был отправлен на принудительное лечение в 1972 году, а впоследствии выпустил книгу («Райский экспресс»), в которой подробно описал течение своей болезни – согласно предисловию, написанному отцом, «чтобы рассказать людям, собирающимся сойти с ума, как устроены американские горки, по которым они катятся».

Давайте уж разделаемся раз и навсегда с достоинствами книг Полли Мэдисон. Чтобы разрешить лично для себя этот вопрос, я обратился посредством телефона к владелице книжного магазина и к библиотекарше из Ист-Хэмптона, а также к парочке вдов моих прежних дружков — абстрактных экспрессионистов, у которых теперь внушки соответствующего возраста.

Все они сказали примерно одно и то же, то есть, вкратце, вот что: «Полезно, откровенно, разумно, но с литературной точки зрения — не более чем ремесленная поделка».

Так что вот так. Если за Шлезингером придут из психушки, то лучше бы ему не рассказывать, что он все лето провел в обнимку с собранием сочинений Полли Мэдисон.

* * *

Также ему не стоит упоминать, что еще мальчишкой он накрыл своим телом японскую гранату, и с тех пор не раз гостил в желтом доме. Похоже, что природа наделила его не только талантом к складыванию слов, но еще и на редкость вредным часовым механизмом, который сталкивает его в безумие каждые года три, или около того. Бойтесь богов, дары приносящих!

Прежде чем заснуть в ту ночь, он объяснил, что он такой, какой есть, и ничего не может с этим поделать, как бы ни старался — что он «такой вот атом».

— И пока меня не засунут в Великий Ускоритель, Рабо, — сказал он, — придется мне таким вот атомом и быть.

* * *

— Ведь что есть литература, Рабо, — сказал он, — как не печатный листок с отчетом о событиях из жизни атомов, до которых никому во вселенной нет дела, кроме горстки других атомов, подцепивших заразу под названием «разум».

* * *

— Мне теперь все ясно, — заявил он. — Я все понял.

— Ты в прошлый раз говорил то же самое, — напомнил я ему.

— Ну так, значит, мне еще раз все ясно, — сказал он.

— Мое предназначение на Земле сводится к двум задачам: обеспечить книгам Полли Мэдисон признание, подобающее столь великим произведениям литературы, и опубликовать мою собственную теорию революций.

— Ага, — сказал я.

— Что, ерунду говорю?

— Да.

— Прекрасно, — сказал он. — Два монумента мне предстоит воздвигнуть! Один — ей, а другой — себе. Через тысячу лет люди будут читать ее книги и изучать теорию революций Шлезингера.

— Неплохо, — сказал я.

Тогда лицо его приняло хитрое выражение.

— Я ведь тебе не говорил, в чем состоит моя теория? — спросил он.

— Нет.

Он постучал пальцем по своему виску.

— А это потому, что она все это время сидит запертой в этом вот амбаре для картошки, — сказал он. — Ты, Рабо, не единственный старик, который приберег самое лучшее на потом.

— Что тебе известно про амбар для картошки?

— Ничего! Честное слово, ничего не известно. Но зачем еще старик станет запирасть что-то на замок, на замок? Только чтобы приберечь самое лучшее на потом. Атом атома видит издалека.

— Ну, в моем амбаре не самое лучшее и не самое худшее. Вряд ли достаточно прекрасное, чтобы быть лучшим, но и не такой полный ужас, чтобы называться худшим. Хочешь узнать, что там?

— Конечно, если ты хочешь мне рассказать.

— Самое бессмысленное и вместе с тем самое исчерпывающее слово из всех слов, — сказал я.

— А именно?

– «Прощайте».

* * *

Гуляем!

И кто же готовит еду и стелет постели для моих удивительных гостей?

Незаменимая Элисон Уайт! Как хорошо, что мадам Берман уговорила ее остаться!

И хотя мадам Берман утверждает, что создала уже девяносто процентов очередной эпопеи и, стало быть, вскорости переберется обратно в Балтимор, Элисон Уайт больше не собирается бросать меня в одиночестве. Во-первых, фондовая биржа обвалилась две недели назад, и это обстоятельство сильно понизило спрос на услуги экономки здесь в округе. А во-вторых, она снова беременна, и на этот раз собирается выносить плод до срока. Так что она умоляла меня разрешить ей и Целесте остаться по крайней мере на зиму. Я сказал ей:

– По крайней мере не соскучимся!

* * *

Кажется, мне следовало рассыпать по пути следования этой книги крошки в виде дат, например: «Сегодня – день Независимости⁶⁷», или «Говорят, у нас самый холодный август за всю историю – возможно, тому виной дыра в озоне над Северным полюсом», и тому подобное. Но я же не знал, что вместе с автобиографией пишу еще и дневник.

Так что отмечаю здесь, что начало сентября было уже две недели назад, как и обвал на бирже. И – р-раз! Кончилось наше процветание! Р-раз! Кончилось наше лето!

* * *

⁶⁷ 4 июля.

Целеста с друзьями снова ходит в школу. Она попросила меня сегодня утром рассказать ей про вселенную. Им задали домашнее сочинение.

— А почему я? — спросил я ее.

— Вы же каждое утро читаете «Нью-Йорк Таймс», — ответила она.

Пришлось ей сказать, что в начале всего вселенная была размером с клубничину, весила десять фунтов, а за семь минут до полуночи три триллиона лет назад вдруг рванула.

— Я серьезно! — сказала она.

— К тому, что я прочел в «Нью-Йорк Таймс», мне добавить нечего, — сказал я.

* * *

Пол Шлезингер послал за своей одеждой и писательскими принадлежностями. Он трудится над первой в жизни документальной книгой, к которой уже придумал название: «Верный способ произведения успешных революций в любой области человеческих начинаний».

Вот в чем там дело. Шлезингер, внимательно изучив всю историю человечества, якобы установил, что головы большинства людей закрыты к восприятию нового, пока за дело не берется команда по раскрытию людских голов, причем весьма определенного состава. До тех пор все продолжают жить в точности так же, как жили всегда, какой мучительной, безнадежной, несправедливой, нелепой и тупой ни была бы их жизнь.

В команде непременно должны быть представлены специалисты трех видов, продолжает он, иначе революция — неважно, какая, будь то в политическом устройстве, в науке, в искусстве — обречена на провал.

Самая редкая из специальностей, по его словам — настоящие гении, люди, которым в голову приходят идеи, обладающие явными достоинствами и при этом не являющиеся общеизвестными. «От гения, который трудится в одиночку, отмахиваются, как от чокнутого», говорит он.

Представителя второй специальности найти гораздо проще: это высокообразованный гражданин, пользующийся уважением в обществе, который понимает и ценит свежие мысли гения и свидетельствует, что тот вовсе не безумен. «Человек такого склада сам по себе лишь во всеуслышание призывает перемены, но не может описать, какие формы эти перемены должны принять».

Третьей специальностью обладают люди, способные объяснить что угодно, от простого и до самого сложного, так, что станет понятно кому угодно, вне зависимости от глупости и упрямства слушателя. «Их цель — казаться интересными и оригинальными собеседниками, и они ни перед чем не остановятся в ее достижении. Если же заставить их опираться только на собственные жалкие идеи, то всем становится ясно, что они — пустобрехи хуже деревенских собак».

* * *

Поехавший крышей Шлезингер утверждает, что все удачные революции, включая абстрактный экспрессионизм — то есть, ту, в которой принял участие и я, — были организованы именно таким набором действующих лиц. В нашем случае гением работал Поллок, для русских — Ленин, для христианства — Христос.

А если не удастся подобрать подобную компанию, то о каких-либо серьезных изменениях в чем угодно можно вообще забыть, говорит он.

* * *

Представляете? В этом доме на берегу океана, таком пустом и лишенном жизни всего несколько месяцев назад, вызревают теперь: книга об успешных восстаниях, книга о чувствах, испытываемых небогатыми девочками по отношению к богатым мальчикам, а также книга воспоминаний художника, все картины которого осыпались со своих холстов.

И к тому же у нас на подходе младенец!

* * *

В окно мне видно простого мужика, оседлавшего небольшой трактор, за которым по моему газону с безумным треском волочитя связка косилок. Все, что я о нем знаю — это что зовут его Франклин Кули, что он владеет древним двухдверным «Кадилаком» цвета детской неожиданности, и что у него шестеро детей. Мне неизвестно даже, умеет ли он читать и писать. В сегодняшней «Нью-Йорк Таймс» говорится, что сорок миллионов американцев не умеют читать и писать. Неграмотных в этой стране в шесть раз больше, чем армян во всем мире! Их так много, а нас так мало!

Догадывается ли Франклин Кули, несчастный тупой уродец с шестью детьми и с трескучей какофонией косилок в ушах, какую гигантскую работу делаем мы в этом доме?

* * *

Да, а знаете, о чем еще пишут сегодня в «Нью-Йорк Таймс»? Генетики получили *неопровержимые* доказательства, что мужчины и женщины происходят из различных рас: мужчины зародились в Азии, а женщины — в Африке. То, что при встрече они оказались способными на взаимное скрещивание — не более, чем совпадение.

Женский клитор, если верить рассуждениям в газете — рудимент копулятивного органа завоеванной, поработанной, опошленной и выхолощенной расы человекообразных, более слабой, но отнюдь не менее разумной!

Пора отказываться от подписки!

ВОЗВРАЩАЕМСЯ в Великую Депрессию!

Короче, вот что: Германия напала на Австрию, потом на Чехословакию, потом на Польшу и Францию, а в результате в далеком городе Нью-Йорке бесславно пала моя жалобная жизнь. «Кулон Фрер э Сье» закрыли свое представительство, и я потерял работу в агентстве — в скором времени после мусульманского погребения, которого был удостоен мой отец. Тогда я подал заявление в американскую армию, еще ни с кем в тот момент не воевавшую, и неплохо сдал экзамен на профессиональную пригодность. Великая Депрессия продолжала свирепствовать, а армия в нашей стране все еще представляла собой весьма избранную семью, так что мне повезло, что меня приняли. Помню, как сержант в призывном центре на Таймс-сквер дал мне понять, что мои перспективы в качестве члена этой семьи были бы более светлыми, если бы я изменил свое имя и фамилию на что-нибудь более американское.

Помню даже, в чем состояло его искреннее предложение — чтобы я переименовался в Роберта Кинга. Представьте себе: вот сейчас кто-нибудь вторгся бы незаконно на мой пляж, уставился в изумлении на этот особняк, и ему пришел бы в голову вопрос: кто же это настолько богат, чтобы позволить себе такую роскошную жизнь — а ответом на этот вопрос могло бы быть «Роберт Кинг»

* * *

Но армия приняла к себе именно Рабо Карабекияна — и вскоре я выяснил, что было тому причиной: генерал-майор

Дэниэл Уайтхолл, в то время командующий инженерными войсками, пожелал иметь свой портрет в парадном облачении и решил, что лучше всего с этим справится обладатель иностранной фамилии. Разумеется, никакой оплаты при этом мне, простому рядовому, не полагалось. О, как этот человек жаждал бессмертия. У него сдавали почки, и через шесть месяцев он собирался выйти в отставку, упустив таким образом возможность воевать в двух мировых войнах.

Одному Богу известно, что стало потом с портретом, который я писал для него вечерами, освободившись от обязанностей на курсах молодого бойца. Материалы я использовал самые дорогие, на них деньги он тратил с радостью. Вот вам и картина моей кисти, которая в самом деле может пережить «Джоконду»! Если бы мне тогда пришло это в голову, я бы придал ему на холсте загадочную полуулыбку, смысл которой был бы понятен мне одному: что он ухитрился дослужиться до генерала, так и не попав ни на одну из двух великих войн своего времени.

* * *

А другая моя картина, которая тоже имеет шанс так или иначе пережить «Джоконду» — это та огромная штуковина, которую я держу в амбаре⁶⁸.

* * *

Только теперь до меня доходит! Трудясь над портретом генерала Уайтхолла, в казенном особняке, принадлежавшем нашим вооруженным силам и едва ли уступавшем в великолепии вот этому, принадлежащему теперь мне, я играл роль типичного армянина! Тощий новобранец в услужении величественного паши больше двух сотен

⁶⁸ На участке Воннегутов в Барнстебле тоже стоял амбар, содержащий художественные произведения самого Воннегута и членов его семьи, в том числе свисавшую со стропил огромную фотографию авторства Джилл Кременц, его второй жены.

фунтов весом, который мог раздавить меня, как букашку, стоило ему только захотеть.

Я давал ему советы — да, коварные, с целью личной выгоды, но от этого не менее ценные, — не забывая перекладывать их лестью, к примеру: «Какой властный у вас подбородок. Но это вам, конечно, и так известно».

И именно следуя примеру бессчетных поколений бессильных советников-армян при турецких правителях, я возносил хвалу его мыслям, которые при этом вовсе не приходили к нему в голову. Например:

— Вы ведь наверняка думаете о том, какую важность приобретет разведка с воздуха, если вдруг придется воевать.

Разумеется, воевать к тому времени пришлось уже практически всем, кроме Америки.

— Да, — сказал он.

— Если можно, поверните голову самую малость влево, — продолжал я. — Превосходно! Иначе в глазницах слишком глубокие тени, а мне бы очень не хотелось терять такие глаза. Теперь, прошу вас, представьте себя на вершине холма на закате — вы обзрываете долину, которая станет назавтра полем битвы.

Он, насколько мог, изобразил требуемое, что означало, что говорить он теперь не мог — испортился бы весь эффект. Но мне-то, как зубному врачу, болтать ничто не мешало.

— Хорошо! Отлично! Идеально! Не двигайтесь! — вскричал я.

И как бы между прочим добавил, накладывая краски:

— Каждый род войск станет утверждать, что лучше прочих справляется с воздушной маскировкой, в то время как заниматься ею, без сомнения, надлежит инженерам.

А еще немного погодя я сказал:

— Художники ведь так хорошо понимают в маскировке. Уверен, что я — лишь один из многих художников, которые вольются в ряды военных инженеров.

* * *

И чем же увенчалось это коварное, вкрадчивое, левантйское искушение? Судите сами.

Портрет был представлен публике на церемонии, посвященной уходу генерала в отставку. Я к тому времени закончил курс молодого бойца и получил звание ефрейтора. Вооруженный допотопным «Спрингфилдом», я стоял в колонне других солдат перед трибуной, обтянутой лентами, на которую водрузили мольберт с картиной и с которой генерал произнес речь.

Он вещал о разведке с воздуха, и о преимущественном положении инженерных войск перед остальными во всем, что касается маскировки. А потом он заявил, что подписал последнее свое распоряжение, в котором новобранцам с, как он выразился, «живописным опытом» предписывается вступить в маскировочное подразделение под командованием, слушайте внимательно, «старшины Рабо Карабекяна — надеюсь, я правильно произнес фамилию».

Правильно, *правильно!*

* * *

Уже старшиной на военной базе Форт-Бельвуар я прочел в газете о смерти Дэна Грегори и Фреда Джонса в Египте. О Мэрили не было сказано ни слова. Умерли они как штатские, хотя и в военной форме, и удостоились уважительных некрологов, поскольку Америка все еще соблюдала в этой войне нейтралитет. Итальянцы еще не стали нашими врагами, а англичане, застрелившие Грегори и Фреда — нашими союзниками. Насколько я помню, Грегори в газете превозносили как самого известного американского художника. Фред предстал к Судному дню как ас Первой Мировой, хотя им и не был, и как один из первопроходцев военной авиации. Мне-то, конечно, было интересно, что стало с Мэрили. Она ведь была все еще молода и наверняка красива, и легко могла подобрать себе мужчину значительно богаче меня, который стал бы о ней заботиться. Не в моем положении было предъявлять на нее какие-то претензии. Платили в армии тогда гроши, и

старшинам в том числе, а в лавке при военном городке Граалями не торговали.

* * *

Когда же и моей стране пришла пора идти на войну, как всем остальным, мне присвоили звание лейтенанта, и я служил — не воевал, а служил — на севере Африки, на Сицилии, в Англии, во Франции. Воевать же мне наконец пришлось на границе с Германией, где я немедленно получил ранение и был взят в плен, не сделав ни единого выстрела. Яркая белая вспышка.

Война в Европе закончилась 8 мая 1945 года. Наш лагерь для военнопленных русские захватить не успели. Меня и сотни других офицеров — из Англии, из Франции, из Бельгии, из Югославии, из России, из Италии, которая к тому времени перешла на нашу сторону, из Канады, Новой Зеландии, Южной Африки, Австралии, отовсюду — вывели строем из барачных и заставили маршировать в направлении еще не завоеванных лесов и полей. Потом наши охранники исчезли куда-то в ночи, и наутро мы проснулись на краю необъятной зеленой долины. Теперь там проходит граница между Восточной Германией и Чехословакией⁶⁹. Сверху нам было видно, что в долине собрались тысячи людей — выжившие узники концлагерей, угнанные работники, безумцы, выпущенные из психиатрических больниц и преступники, выпущенные из тюрем, офицеры и солдаты всех армий, воевавших с немцами.

Вот это была картина! И если бы этого впечатления кому-то оказалось недостаточно, чтобы вспоминать о нем всю оставшуюся жизнь, то вот вам еще: последние остатки армий Гитлера, в рваных мундирах, но с превосходно работающими машинками для убийства, находились там вместе с нами.

Такое не забудешь!

⁶⁹ В этом же месте, и при сходных обстоятельствах, закончилась война и для самого Воннегута.

ВОЙНА ДЛЯ МЕНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ, и моя страна, в которой единственным знакомым мне человеком остался владелец китайской прачечной, полностью оплатила косметическую операцию на том месте, где раньше находился мой глаз. Злился ли я на судьбу? Да нет, мне все было безразлично. Как я понимаю, в таком же состоянии находился после своей войны и Фред Джонс. Ни у меня, ни у него не было ничего, ради чего стоило возвращаться домой.

Так кто же лично выложил деньги за операцию на моем глазу в госпитале Форт-Гаррисон на окраине Индианаполиса? Такой высокий, худой мужчина, суровый, но справедливый, простой, но цепкий. Нет, не Санта-Клаус, образ которого, явленный нам каждый год в универмагах под Рождество, основан в большой степени на рисунке, выполненном Грегори для журнала «Свобода» в 1923 году⁷⁰. Нет. Я имею в виду своего дядю Сэма.

* * *

Я уже упоминал, что женился на медсестре из этого госпиталя. Я уже упоминал, что у нас родились два сына, которые теперь со мной не разговаривают. Они теперь

⁷⁰ На самом деле первый рисунок, изображающий Санта-Клауса в его более или менее современном виде (веселый полный старик с длинной белой бородой, в красной шубе и красном колпаке с белой оторочкой) появился действительно в 1923 году, но в другом журнале – «Лайф», в рекламе прохладительных напитков фирмы «Уайт Рок».

даже не Карабеяны. Судебным решением они изменили фамилии в честь своего отчима, которого звали Рой Стил.

Терри Китчен как-то спросил меня, почему, вовсе не обладая талантами отца и мужа, я тем не менее решил жениться. Я услышал, как мой голос ответил ему: «Так устроен сценарий послевоенного фильма».

Этот диалог произошел, должно быть, лет через пять после конца войны.

Мы вдвоем скорее всего лежали рядом на койках, принесенных мной в мастерскую, которую мы снимали — с видом на Юнион-сквер. Этот чердак служил Китчену не только рабочим местом, но и жилищем. Я тоже начал проводить там по две, а то и три ночи каждую неделю. В той подвальной квартирке в трех кварталах от мастерской, где обитали мои дети и моя жена, мне были все меньше и меньше рады.

* * *

Что же не устраивало мою жену? Начать с того, что я уволился с должности страхового агента компании «Коннектикут Дженерал»⁷¹. Большую часть времени я проводил в состоянии опьянения — как алкоголем, так и процессом создания огромных полотнищ, покрытых чистым цветом из банки «Атласной Дюра-люкс». Я снял амбар для картошки и внес задаток за дом в здешних местах, тогда еще совершенно пустынных.

И посреди этого семейного кошмара пришло заказное письмо из Италии, в которой я никогда не был, а в письме — просьба прибыть во Флоренцию, за казенный счет, и выступить в качестве свидетеля по делу о двух картинах, кисти Джотто и Мазаччо, конфискованных американцами в Париже у немецкого генерала. Мой взвод художников получил их для экспертизы, внесения в опись и отправки на склад в Гавре, где они были бы упакованы и уложены на

⁷¹ Теперь — часть конгломерата SIGNA. Коннектикут является местом размещения штаб-квартир многих страховых компаний, из-за благоприятных налоговых условий, созданных им в этом штате.

хранение. Похоже, генерал ограбил чью-то частную коллекцию во время отступления через Флоренцию на север.

Упаковкой в Гавре занимались пленные итальянцы — те из них, кто в гражданской жизни приобрел какой-то опыт в подобных вещах. Один из них ухитрился переправить эти две картины своей жене в Рим, где они и хранились в тайне. Он не показывал их после войны никому, кроме самых близких друзей. Законные владельцы подали в суд, пытаясь вернуть картины себе.

Я поехал туда в одиночку, и попал в газеты, подтвердив, что картины проделали путь от Парижа до Гавра.

* * *

У меня есть своя тайна, которую я еще никому никогда не открывал: «Иллюстратор — это навсегда!». Даже в своих произведениях, представлявших собой полоски цветной пленки на необъятных унылых полях «Атласной Дюра-люкс», я все равно видел какие-то сюжеты. Как дурацкая мелодия из рекламного ролика, эта идея вошла в мою голову и расположилась там; каждая полоска представлялась мне теперь душой, сущностью какого-нибудь человека или животного.

И каждый раз, когда я наклеивал очередную полоску, неумный голос внутреннего иллюстратора говорил мне, к примеру: «Оранжевая пленка — это душа полярного исследователя, отставшего от своих товарищей, а белая — душа белого медведя в прыжке».

Более того, эта потайная фантазия распространилась и на мое видение реальности, и продолжает его отравлять. Когда я смотрю на двух людей, остановившихся поговорить на углу, я вижу не только их одетую плоть, но и узкие вертикальные полоски света внутри них — причем не в виде пленки, а скорее как маломощные люминесцентные лампы.

* * *

Когда в последний день своего пребывания во Флоренции я вернулся в гостиницу, в ящичке с моим именем лежала записка. Насколько мне было известно, у меня во всей Италии не было ни одного знакомого. На листе веле-невой бумаги, украшенном аристократическим гербом, я прочел вот что:

Вряд ли в мире много разных Рабо Карабеянов. Если даже ты не тот из них, которого я имею в виду, все равно заходи. Обожаю армян. Их же вообще все любят. Если пошаркаешь ногами по моему ковру, то потом получают искры. Как тебе такое предложение? Долой современное искусство! Огенься в зеленое.

И подпись: *Мэрили, контесса Портомаджоре (дочь шахтера).*

Ничего себе!

Я СРАЗУ ЖЕ ПОЗВОНИЛ ЕЙ, прямо из гостиницы. Она спросила, не мог бы я прийти к ней на чай через час. Я сказал, что *конечно* мог бы! Сердце у меня колотилось как бешеное.

Она находилась от меня всего в четырех кварталах, в палаццо, который выстроил в середине пятнадцатого века для Инноченцо де Медичи, прозванного «Невидимкой», архитектор Леон Баттиста Альберти⁷². В плане оно имеет форму креста, с четырьмя крыльями, примыкающими к ротонде двенадцати метров в диаметре, в стенах которой заделаны восемнадцать колонн коринфского ордера, высотой в четыре с половиной метра каждая. Над капителями колонн находятся хоры, в стене которых прорезаны тридцать шесть окон. Все это венчается куполом, роспись которого, работы Паоло Уччелло, изображает богоявление: Всемогущий Господь, Иисус, Дева Мария, ангелы, глядящие вниз с облаков. Мозаичный пол неизвестного мастера – впрочем, несомненно венецианской школы – представляет собой сцены из крестьянской жизни: посев, сбор урожая, приготовление пищи и вина и так далее.

* * *

⁷² Леон Альберти (1404-72) – известный художник, поэт, философ и архитектор эпохи Возрождения. Среди его работ – палаццо Ручеллаи во Флоренции, по заказу семейства флорентийских финансистов.

Нет, несравненный Рабо Карабекян не собирается выставлять себя здесь знатоком искусства, или намекать на безупречность своей армянской памяти — даже, если на то пошло, на свободное владение метрической системой мер. Все вышеизложенное я почерпнул из только что вышедшего в издательстве «Альфред Кнопф» альбома, озаглавленного «Сокровища частных коллекций Тосканы», текст и фотографии для которого предоставлены политическим беженцем из Южной Кореи по имени Ким Бум Сук. В предисловии сказано, что изначально эта книга была диссертацией Ким Бум Сука на соискание ученой степени в области истории архитектуры в Массачусетском Технологическом Институте. Ему удалось осмотреть и запечатлеть интерьеры многих роскошных частных особняков во Флоренции и окрестностях, хотя до тех пор мало кому из ученых доводилось в них побывать, а произведения искусства, хранящиеся в них, и вовсе никогда не были доступны на фотографиях или внесены в каталоги.

И среди этих доселе неприступных частных владений было — вот так вот! — и палаццо, выстроенное для Инноченцо де Медичи, по прозвищу «Невидимка», порог которого я собственной персоной преступил тридцать семь лет назад.

* * *

Палаццо, вместе со всем его содержимым, находилось в частных руках непрерывно в течение пяти с половиной веков, и продолжает оставаться частной собственностью после того, как умерла моя любимая Мэрили, контесса Портомаджоре, которая, собственно, и дала Ким Бум Суку, вооруженному камерой и метрическими измерительными инструментами, полную свободу действий. После ее смерти два года назад здание по завещанию ее бывшего мужа перешло к его ближайшему кровному родственнику, троюродному брату, торговавшему автомобилями в Милане, который немедленно продал его одному засекреченному египтянину, по слухам — торговцу оружием. Знаете,

как его зовут? Держитесь крепче; его имя — Лео Мамиконян!

Мир тесен!

Этот Лео — сын Вартана Мамиконяна, который перенаправил моих родителей из Парижа в Сан-Игнасио, и из-за которого я сам, помимо всего прочего, лишился еще и глаза. Вартана Мамиконяна я никогда не прощу.

* * *

Лео Мамиконян приобрел и все содержимое палаццо, и таким образом является теперь владельцем коллекции американских абстрактных экспрессионистов, собранной Мэрили — лучшей в Европе и уступавшей во всем мире только моей собственной⁷³.

Как же это выходит, что армяне всегда так отлично устраиваются? Пора бы кому-нибудь провести расследование.

* * *

И как же это вышло, что бесценная диссертация Ким Бум Сука оказалась в моем распоряжении как раз в тот момент, когда течение этой книги дошло до моей встречи с Мэрили в 1950 году? Тут у нас еще одно совпадение, которое люди суеверные несомненно примут всерьез.

Два дня назад вдовица Берман, в состоянии сверхъестественной живости и проницательности, подаренном ей бог знает каким послевоенным чудом фармацевтики, зашла в Ист-Хэмптоне в книжный магазин и, по ее утверждению, услышала, как одна из сотен книг позвала ее.

⁷³ Одним из самых известных частных собраний современного американского искусства в Европе является коллекция, собранная Пегги Гуггенхайм и расположенная в принадлежавшем ей палаццо на берегу Большого Канала в Венеции. Считается, что именно она «открыла» для мира работы Поллока. Гуггенхайм прожила послевоенные годы в Италии и умерла в Падуе в 1979 году — то есть, на 5 лет раньше Мэрили.

Книга сказала также, что наверняка мне понравится. Поэтому мадам Берман купила ее для меня в подарок.

Она, разумеется, не знала, что я вот-вот собирался начать писать о Флоренции. Этого никто не знал. Она вручила мне книгу, так и не открыв ее, и потому не догадывалась даже, что внутри содержалось описание палаццо моей подруги.

Если придавать слишком много значения подобным совпадениям, то очень скоро свихнешься. Еще решишь, того и гляди, что во вселенной то и дело происходит что-то, что нам не полностью понятно.

* * *

Профессор Ким — или профессор Бум, или профессор Сук, если один из этих слогов вообще является его фамилией — прояснил для меня два вопроса, касающихся ротонды, которыми я задавался с тех пор, как удостоился ее лицезреть. Во-первых, для меня было загадкой, почему пространство под куполом казалось освещенным естественным светом. Оказывается, на подоконниках окон, прорезанных в стене хоров, были установлены специальные зеркала — там, и на скатах крыш. Они собирали солнечные лучи и направляли их вверх под купол.

А вот вторая загадка: почему огромные прямоугольные ниши между стоящими в круг колоннами пустовали? Как мог человек, считавший себя ценителем искусства, оставить их незанятыми? Когда я их увидел, они были окрашены в ровный нежно-розовый цвет, почти как тот, что на языке «Атласной Дюра-люкс» именовался «Заря на Мауи».

Профессор Ким — или профессор Бум, или профессор Сук — разъясняет, что на фресках в этих нишах раньше развились легкомысленно одетые языческие боги и богини, полностью утерянные для истории. Их не скрыли под слоями краски — нет, их полностью соскребли со стен после изгнания семейства Медичи из Флоренции, продолжавшегося с 1494, то есть, двумя годами позже открытия белым человеком этого полушария, до 1531 года. Фрески

были уничтожены по настоянию монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы, желавшего полностью рассеять дух язычества, который, по его мнению, отравлял жизнь города во времена правления Медичи.

Художника, написавшего эти фрески, звали Джованни Вителли, и больше о нем почти ничего неизвестно, за исключением того, что родился он скорее всего в Пизе. Можно сказать, что он был истинным Карабекяном своего времени, а роль «Атласной Дюра-люкс» в его жизни сыграл христианский фанатизм.

* * *

Кстати, Ким Бум Сука вышвырнули с его родины, из Южной Кореи, за попытку создания профсоюза студентов с требованием изменений в программе обучения.

Кстати, Джироламо Савонаролу в 1494 году повесили, а потом сожгли на костре на площади перед палаццо, принадлежавшем ранее Инноченцо Медичи, по прозвищу «Невидимка»⁷⁴.

Обожаю историю. Не понимаю, почему Целеста и ее дружки ей совсем не интересуются.

* * *

Теперь мне кажется, что эта ротонда, пока она еще была украшена как христианскими, так и языческими изображениями, служила своего рода ядерным проектом эпохи Возрождения. Ее постройка стоила уйму денег, привлекла лучшие умы своего времени, и сгустила в небольшом объеме, и в странных сочетаниях, самые могущественные силы во вселенной — в той вселенной, как ее понимали в XV веке.

С тех пор вселенная, конечно, значительно продвинулась вперед.

⁷⁴ На самом деле Савонарола был казнен на площади Синьории, в самом центре Флоренции, перед зданием Палаццо Веккьо — то есть, городской ратуши.

* * *

Что же до самого «Невидимки» Инноченцо Медичи, то Ким Бум Сук называет его «финансистом», что я перевожу приблизительно как «ростовщик и вымогатель», или, выражаясь современным языком, «гангстер». Он был одновременно и самым богатым, и самым скрытным членом своей семьи. С него не было сделано ни одного изображения, за исключением детского бюста, изваянного скульптором Лоренцо Гиберти. Когда Инноченцо исполнилось пятнадцать, он самолично расколотил этот бюст и выбросил обломки в реку Арно. Став взрослым, он никогда не принимал гостей и сам не ходил на приемы, а если ему нужно было выехать за пределы города, использовал повозку, закрытую со всех сторон.

А после того, как постройка палаццо была завершена, никому, даже самым приближенным к нему приспешникам, даже самым высокопоставленным гостям, включая двух двоюродных братьев, избранных папами⁷⁵, не позволялось видеть его иначе, как в ротонде. Все они обязаны были стоять у стен, а он занимал центр, в одиночестве, облаченный в монашескую рясу и с маской черепа на месте лица.

* * *

В Венеции, в изгнании, он утонул. Надувные плавательные круги тогда еще не изобрели.

* * *

⁷⁵ Имеются в виду Джованни (1475-1521) и Джулио (1478-1534) де Медичи, папы Лев X и Климент VII. Между собой они тоже были двоюродными братьями (сыновьями Лоренцо «Великолепного» и Джулиано, соответственно); таким образом Инноченцо, даже если бы существовал, не мог бы носить фамилию Медичи – у отца Лоренцо и Джулиано, Пьеро де Медичи по прозвищу «Подагрик», не было больше сыновей. Впрочем, одна из дочерей Пьеро, Лукреция (Наннина), по мужу – Ручеллаи (см. примечание 72).

Интонации Мэрили, когда она назначала мне по телефону встречу в своем палаццо, а также ее признание, что мужчины в ее жизни в тот момент не было, давали мне уверенность, что не пройдет и двух часов, как мне перепадет еще порция самых прекрасных на свете любовных игр — причем на этот раз я выступлю не в роли неопытного мальчишки, нет, я явлюсь к ней героем войны, искушенным повесой и гражданином мира!

Я в свою очередь уведомил ее, что потерял в сражении глаз, ношу черную повязку, и что, хотя я и женат, в семье у меня нелады.

Похоже, я также обмолвился, пытаюсь обратить в шутку те годы, которые я подвизался воином, что большую часть времени я занимался тем, что «сучек из волос вычесывал». Это означало, что женщины, в изрядных количествах, делали все, чтобы оказаться для меня доступными. Идиома немного странная, но является вариацией на тему более осмысленной метафоры: человек, побывавший под серьезным обстрелом, говорил тогда, что вычесывал из волос сучки — сбитые осколками с деревьев⁷⁶.

Итак, в назначенный час я прибыл, весь подрагивая от тщеславия и вожделения. Служанка провела меня по длинному прямому коридору к ротонде. Все прислуга в доме контессы Портомаджоре была женского пола — включая привратников и садовников. Я помню, что та из них, которая впустила меня внутрь, показалась мне немного мужеподобной и недружелюбной — а потом, когда она приказала мне остановиться у стены, и вовсе по-армейски жесткой.

* * *

А в центре, с ног до шеи в чернейшем трауре по своему мужу, графу Бруно, стояла Мэрили.

⁷⁶ Воннегут был взят в плен после жестокого артиллерийского обстрела окопов, в которых укрывалось его подразделение, и вспоминал о граде веток и осколков, сыпавшихся на их головы.

Ее лицо не было скрыто маской черепа, но само по себе было настолько бледным, и в полутьме настолько близким по цвету к ее пепельным волосам, что можно было представить, будто ее голова выточена из единого куска выбеленной временем слоновой кости.

Я замер, пораженный.

Голос ее прозвучал властно и презрительно.

— Что ж, мой вероломный армянский воспитанник, — сказала она. — Вот мы и встретились снова.

— НЕБОСЬ ДУМАЛ, что тебе опять постель обломится.

Ее слова вспорхнули шуршащим эхом под купол — как будто там их продолжили обсуждать божества.

— Какое разочарование, — продолжала она. — Я ведь сегодня даже руки тебе не подам.

Я дернул головой, неприятно удивленный.

— За что ты так на меня злишься? — спросил я.

— Была Великая Депрессия, и я думала, что ты был мне настоящим другом, единственным другом на свете. А потом мы оказались в постели, и с тех пор от тебя ни слуху, ни духу.

— Ничего себе! Ты же сама велела мне уходить — сказала, что так будет лучше для нас *обоих*. Ты что, забыла?

— Ты, должно быть, так обрадовался, когда я это сказала. Вот уж ушел, так ушел.

— А чего ты тогда от меня *ожигала*?

— Знака, любого, какого угодно знака, что тебе не все равно, что со мной, — сказала она. — У тебя было четырнадцать лет, но ты так и не удосужился — ни телефонного звонка, ни даже открытки. И вот пожалуйста, явился, не запыхавшись. И чего тебе надо? Да постели тебе опять надо.

* * *

— То есть, мы могли бы тогда остаться любовниками? — спросил я в изумлении.

— Любовниками! Любовниками! — резко передразнила она.

На это раз эхо ее насмешек звучало под куполом как крики дерущихся дроздов.

— В любящих мужчинах у Мэрили Кемп недостатка никогда не было, — сказала она. — Отец меня так любил, что избивал каждый день. Игроки школьной футбольной команды меня так любили, что насиловали всю ночь после выпускного. Помощник режиссера в варьете Зигфильда меня так любил, что потребовал, чтобы я присоединилась к выводку его шлюх — иначе он выгонит меня и подстроит, чтобы мне плеснули в лицо кислотой. Дэн Грегори меня так любил, что спихнул вниз по лестнице, за то, что я послала тебе дорогих художественных материалов.

— Что?!

Тут она рассказала мне, как на самом деле получилось, что я стал подмастерьем у Дэна Грегори.

Я был ошеломлен.

— Но... Но ведь ему же понравились мои рисунки? — заикаясь, пробормотал я.

— Нет, — сказала она.

* * *

— Это был первый раз, когда я по твоей милости получила жестокую трепку, — сказала она. — Второй раз был после того, как мы побывали в постели, и с тех пор я о тебе ничего не слышала. А теперь давай поговорим о том, сколько всего прекрасного ты мне подарил в этой жизни

— Мне никогда еще не было так стыдно, как сейчас.

— Ладно, я сама скажу тебе, что ты мне подарил. Блаженные, бездумные, прекрасные прогулки по городу.

— Да, их я помню.

— Ты шаркал ногами по ковру, а потом разряжал электричество, дотронувшись до моей шеи в самый неожиданный момент.

— Да.

— И еще мы вели себя иногда, как непослушные дети.

— Когда оказались в постели, — сказал я.

Она снова взорвалась.

— Да нет же! Нет! Нет! Идиот! Ты полный идиот! — закричала она. — Музей современного искусства!

* * *

— Так ты, значит, потерял на войне глаз, — сказала она.

— Как и Фред Джонс.

— Как и Лукреция, и Мария.

— Это кто?

— Моя кухарка и та женщина, которая встретила тебя у двери.

* * *

— И много ли медалей ты завоевал? — спросила она.

По правде сказать, с этим у меня было неплохо. Я был награжден Бронзовой Звездой с дубовым венком⁷⁷ и Пурпурным Сердцем⁷⁸ за мой глаз, а мой взвод был отмечен почетной грамотой от президента. Кроме того, у меня имелись Медаль Солдата, медаль за безупречную службу и памятный знак за участие в европейско-африканско-ближневосточной кампании с семью звездами — по числу сражений.

Больше всего я гордился Медалью Солдата, которой обычно награждается боец, спасший жизнь другому бойцу вне зоны боевых действий. В 1941 году я преподавал курс по маскировке будущим офицерам на базе в Форт-Беннинг, в штате Джорджия. Я увидел, что казарма горит, вызвал пожарную бригаду, а сам вбежал внутрь, дважды, презрев опасность для собственной жизни, и

⁷⁷ Бронзовая Звезда — боевая награда в армии США, вручаемая за отвагу в сражении. Если человек совершает действие, влекущее награждение каким-либо орденом, больше одного раза, то этот факт отмечается прикреплением к орденской ленте изображения дубового венка (двух, трех венков и так далее), выполненного из того же металла, что и сама награда.

⁷⁸ Пурпурное Сердце — медаль армии США, вручаемая за любое боевое ранение.

вытащил оттуда двоих боевых товарищей, потерявших сознание.

Там внутри находились только эти двое, а не должно было находиться никого. Они напились и случайно устроили пожар, за что и получили по два года каторги и по увольнению с лишением прав, привилегий и заработанных денег.

Так вот, что касается медалей: я сказал Мэрили, что мне не на что жаловаться.

Кстати, Терри Китчен страшно завидовал моей Медали Солдата. Сам он получил Серебряную Звезду⁷⁹, но считал, что Медаль Солдата ее в десять раз почетней.

* * *

— Когда я вижу мужчину с медалью, — сказала Мэрили, — мне хочется обнять его, заплакать и повторять: «Бедненький, через что же тебе пришлось пройти — и все ради того, чтобы жена и дети могли спать спокойно!».

Она рассказала мне, что ее иногда подмывало подойти к Муссолини, у которого орденов было так много, что они покрывали его мундир с обеих сторон от воротника и до ремня, и спросить у него: «Неужели после всего, через что вам пришлось пройти, от вас что-то еще осталось?».

Тут она припомнила мне то злосчастное выражение, которое я употребил во время телефонного разговора:

— Ты, кажется, сказал, что всю войну вычесывал из волос сучек?

Я ответил, что очень жалею, что так сказал. Это была правда.

— Никогда раньше не встречала этого выражения, — сказала она. — Мне пришлось догадываться, в чем его смысл.

— Выбрось из головы.

⁷⁹ Серебряная Звезда – орден, вручаемый за исключительную отвагу в сражении; третья по старшинству боевая награда в американской армии, на один уровень выше, чем Бронзовая Звезда.

— Хочешь, скажу, как я его поняла? Я поняла так, что везде, где бы ты ни оказался, находились женщины, согласные на все ради пропитания или безопасности — для себя, для детей, для стариков, поскольку все мужчины или ушли, или умерли. Тепло или холодно?

— Ох, боже мой, боже мой.

— Что с тобой, Рабо?

— Ты попала в самую точку, — сказал я.

* * *

— Для этого особого ума не потребовалось, — сказала она. — Весь смысл войны именно в том, чтобы поставить всех женщин, где бы они ни были, в это положение. Воюют всегда мужчины против женщин. Мужчины только делают вид, что дерутся между собой.

— Знаешь, они его иногда делают очень убедительно.

— Конечно, они же знают, что тому, кто делает его убедительней всех, достаются медали и фотографии в газетах.

* * *

— А нога у тебя случайно не искусственная? — спросила она.

— Нет.

— Лукреция — это та, которая встречала тебя — потеряла не только глаз, но и ногу. Вот я и подумала, что и с тобой могло случиться то же самое.

— Нет, не случилось.

— Дело в том, — сказала она, — что как-то рано утром она шла по лугу и несла в руках сокровище, два куриных яйца для соседки, у которой ночью родился ребенок. И наступила на мину. К какой армии принадлежал человек, заложивший ее, неизвестно. Зато известно, какого он был пола. Разработать и закопать столь хитроумное устройство под силу только мужчине. Перед тем, как уходить, попробуй упросить Лукрецию показать тебе те награды, которые достались ей.

И добавила:

— Женщины ведь такие бесполезные, приземленные создания. Им никогда не приходит в голову заложить в почву ничего, кроме семян, из которых растет что-нибудь съедобное или красивое. А все, что им хочется в кого-нибудь бросить — это или мяч, или букет на свадьбе.

Мной овладела смертельная усталость.

— Ладно, Мэрили, — сказал я ей. — Я все понял, дальше объяснять не надо. В жизни не чувствовал себя более паршиво, чем сейчас. Будь Арно чуть глубже, я бы пошел и утопился в ней. Можно мне уже возвращаться в гостиницу?

— Нет, — ответила она. — Я надеюсь, что низвела твое чувство собственного достоинства до того уровня, который мужчины навязывают женщинам. Если это так, то мне бы очень хотелось, чтобы ты остался выпить со мной чаю, который я тебе все равно обещала. Кто знает, может быть, мы даже снова подружимся.

МЭРИЛИ ПРОВЕЛА МЕНЯ в небольшую уютную библиотеку, сохранившую прежде, по ее словам, уникальную коллекцию гомосексуальной порнографии, собранную ее покойным мужем. Я спросил, что стало с коллекцией, и она ответила, что продала ее всю целиком за баснословные деньги, которые отдала прислуге — разделила между женщинами, так или иначе жестоко пострадавшими от войны.

Мы расположились в мягких креслах по двум сторонам от кофейного столика. Она тепло улыбнулась мне и заговорила:

— Ну, что ж, мой юный воспитанник — и как у нас дела? Давненько не виделись. В семье, говоришь, нелады?

— Я жалею, что сказал об этом, — сказал я. — Я жалею, что вообще открыл рот. И что притащился сюда.

В этот момент на столике появились чашки с чаем и тарелка пирожных, поданные женщиной с двумя стальными зажимами вместо рук. Мэрили сказала женщине что-то по-итальянски, и та засмеялась.

— Что ты ей сказала? — спросил я.

— Что у тебя нелады в семье.

Женщина с зажимами ответила по-итальянски, и я потребовал перевода.

— Она сказала: «В следующий раз пусть женится на мужчине», — объяснила Мэрили. — Ее муж сунул обе ее руки в кипяток, — продолжала она, — чтобы заставить признаться, с кем она спала, пока он был на войне. На

самом деле, спала она с немцами. А потом с американцами. А потом началась гангрена.

* * *

В уютной библиотеке над каминной полкой висела та самая картина в стиле Дэна Грегори, о которой я уже упоминал, дар от жителей Флоренции: покойный муж Мэри-ли, граф Бруно, отказывается от повязки на глаза в виду взвода с ружьями наперевес. Она сказала, что все было не совсем так, но с другой стороны, совсем так никогда ничего не бывает. Тогда я спросил ее, как вышло, что она теперь контесса Портомаджоре, владелица великолепного палаццо, плодородных земель к северу от города и так далее.

Когда она, Грегори и Фред Джонс прибыли в Италию, еще до того, как Америка вступила в войну, начала Мэри-ли, им устроили прием, достойный мировых знаменитостей. Они представляли собой готовую победу муссолиниевской пропаганды.

— «Самый великий из современных художников Америки, один из ее величайших авиаторов, и несравненная, прекраснейшая, талантливейшая американская актриса Мэри-ли Кемп», так он нас называл. Мы трое, повторял он, прибыли, чтобы принять участие в итальянском духовном возрождении и стать свидетелями экономического чуда, которому суждено служить образцом для всего мира на все последующие тысячелетия.

Ценность всей троицы для пропаганды была столь велика, что и в прессе, и в свете к ней относились с уважением, подобающим действительно великой актрисе.

— Удивительное дело, я вдруг перестала быть туповатой шлюшкой. Я превратилась в бриллиант в короне нового римского императора. Надо сказать, что Дэна и Фреда такое положение дел озадачило. Впрочем, на публике им приходилось проявлять ко мне уважение, и я всю этим пользовалась. Эта страна, как известно, сдвинулась на блондинках, и всякий раз, когда требовался парадный выход, я шествовала впереди, а им оставалось изображать свиту за моей спиной.

— Потом оказалось, что итальянский дается мне без всякого труда, — добавила она. — Очень скоро я стала говорить лучше, чем Дэн, хотя он и брал специально уроки перед отъездом из Нью-Йорка. Фред, конечно же, так и не выучил ни слова.

* * *

Фред и Дэн превратились в итальянских героев, так как пали в бою более или менее за дело Италии. Известность Мэрили пережила их обоих — она стала постоянным, в высшей степени обаятельным напоминанием об их высокой жертве, а также о восхищении, которое американцы якобы питают в отношении Муссолини.

Кстати, в день нашего воссоединения она все еще была головокружительно красива, даже во вдовьем трауре и без косметики. Пережитое ею вполне могло превратить ее в старуху, но ей было тогда всего сорок три года. Перед ней лежала еще почти треть века!

Как я уже упоминал, она еще станет крупнейшим оптовым посредником фирмы «Сони» в Европе. Старушка вовсе не собиралась сдаваться!

Контесса также явно опередила свое время еще в одном аспекте: до нее раньше прочих дошло, что мужчины — существа не только безмозглые и бесполезные, но и попросту опасные. На ее родине эта мысль овладеет наконец умами лишь в последние три года войны во Вьетнаме.

* * *

После смерти Дэна Грегори Мэрили в светских кругах Рима обычно сопровождал изящный господин Бруно, граф Портомаджоре — неженатый выпускник Оксфорда и министр культуры в правительстве Муссолини. Он с самого начала предупредил ее, что отношения между ними останутся платоническими, поскольку в сексуальном смысле его интересовали исключительно мужчины — или мальчики. Подобные предпочтения, выраженные в действиях, означали в то время смертный приговор. Граф Бруно,

впрочем, чувствовал себя в полной безопасности, каким бы скандальным ни было его поведение. Он был уверен, что Муссолини его защитит, поскольку из всей старой аристократии он единственный принял высокий пост в новом правительстве и практически лизал в порыве восхищения армейские сапоги выскочки-диктатора.

— Фантастический осел, — отозвалась о нем Мэрили. Она сказала, что над его трусостью, тщеславием и безвольностью потешались все без исключения.

— И в дополнение ко всему этому, — заметила она, — фантастический руководитель британской разведки в Италии.

* * *

После того, как Дэн и Фред погибли, и до вступления в войну Соединенных Штатов весь Рим лежал у ног Мэрили. Она превосходно проводила время в прогулках по магазинам и танцах, танцах, танцах — с графом, которому нравилось ее общество и который никогда не позволял себе ничего лишнего. Он исполнял все ее причуды, ни разу не поднял на нее руку, ничего от нее не требовал — пока однажды вечером не признался, что сам Муссолини приказал ему жениться на ней!

— Он нажил себе множество врагов, — объяснила Мэрили, — которые нашептывали Муссолини, что он гомосексуалист и английский шпион. Муссолини, несомненно, знал, что он отдавал предпочтение мужчинам и мальчикам, но не мог себе даже представить, что у этого шута хватило бы ума и выдержки, чтобы быть шпионом.

Вместе с приказом, что его министр культуры обязан жениться на Мэрили, чтобы доказать, что он не гомосексуалист, Муссолини и для самой Мэрили прислал на подпись документ. Этот документ был составлен для умасливания старой аристократии. Для ее представителей мысль о возможном переходе древних владений в руки американской шлюшки была невыносимой. По выставленным условиям в случае смерти графа Мэрили получала бы право пользоваться его собственностью до конца своей жиз-

ни, но продавать или передавать ее кому-либо еще ей за-
прещалось. После же ее смерти все наследие графа пере-
ходило бы в руки его ближайшего родственника мужского
пола, которым, как я уже упоминал, оказался торговец
автомобилями из Милана.

Следующим утром Япония нанесла внезапный удар по
бухте Перл-Харбор и вывела из строя значительную часть
военно-морского флота США, в результате чего моей все
еще миролюбивой, антимилитаристической стране при-
шлось объявить войну — не только Японии, но и ее союз-
никам, Германии и Италии.

* * *

Но Мэрили, не дожидаясь Перл-Харбора, уже сооб-
щила единственному мужчине, который когда-либо пред-
лагал ей выйти за него замуж, да к тому же еще богатому и
знатному, что ответом на его предложение будет отказ.
Она поблагодарила его за подаренную ей радость, превос-
ходящую все, что она испытала до сих пор. Потом она
сказала, что предложение и документ, его сопровождаю-
щий, заставили ее пробудиться от прекрасного сна, и что
настало время для нее вернуться в Америку, а там уже
как-нибудь выяснить, что же она из себя представляет и на
что годится, хотя возвращаться ей было некуда.

Однако следующим утром, переполненная радостным
волнением по поводу близкого возвращения на родину,
Мэрили почувствовала, как душевный климат Рима, не-
смотря на то, что солнце сияло вовсю, а туч в небе не было
и следа, разом испортился. По ее словам, сказанным мне во
Флоренции, вокруг стало так же темно и холодно, как «под
мокрым снегом в полночь».

* * *

Мэрили услышала о Перл-Харборе из выпуска ново-
стей по радио. Ведущий также упомянул о приблизительно
семи тысячах американцев, проживавших в Италии. Аме-

риканское посольство, еще не закрывшееся и еще формально в состоянии мира с Италией, заявило, что разрабатывает план по предоставлению транспорта для репатриации, с целью перевезти домой как можно больше сограждан как можно скорее. Правительство Италии отмечало, что предпримет все усилия, чтобы способствовать их отправке, хотя для массового исхода, конечно же, нет никаких причин, ведь Италию и США связывают узы как кровные, так и исторические, и было бы ошибкой разрывать их в угоду евреям, коммунистам и прогнившей Британской империи.

Служанка пришла к Мэрили с более прозаическими новостями — что какой-то работяга хочет поговорить с ней о возможных протечках газа в спальне в связи с износом труб в стенах. Он был одет в комбинезон и держал в руках ящик с инструментами. Он выстукивал стены, принохивался и бормотал себе под нос по-итальянски. Затем, убедившись, что они остались вдвоем и так и не повернувшись к ней лицом, он негромко заговорил на чистейшем английском с чикагским акцентом.

Он сказал ей, что представляет Военный Отдел — так называлось тогда Министерство Обороны. Отдельной организации, занимающейся шпионажем, у нас еще не было. Он сказал, что понятия не имеет о ее взглядах на демократию и фашизм, но что по долгу службы он обращается к ней с просьбой остаться, на благо своей родины, в Италии и продолжать использовать свое обаяние в правительственных кругах, близких к Муссолини.

По ее собственному признанию, Мэрили в тот момент впервые в жизни задумалась о фашизме и демократии. Демократия казалась привлекательнее.

— И зачем же это мне оставаться здесь и делать все это? — спросила она.

— Рано или поздно вы можете случайно услышать что-нибудь чрезвычайно для нас интересное, — ответил он. — Рано или поздно, хотя возможно, что и никогда, вашей стране может от вас что-то понадобиться.

Она сказала, что у нее родилось чувство, будто весь мир неожиданно сошел с ума.

На это он заметил, что ничего неожиданного тут не видит, и что миру давно уже место или в сумасшедшем доме, или в тюрьме.

Тогда в качестве примера неожиданного помешательства окружающего мира она рассказала ему о приказе Муссолини, согласно которому его министр культуры обязан был на ней жениться.

По словам Мэрили, вот какой ответ она получила:

— Если в вас сохранилась хотя бы одна молекула любви к Америке, вы примете это предложение.⁸⁰

Вот так и вышло, что дочь шахтера стала контессой Портомаджоре.

⁸⁰ Этот диалог напоминает сцену из раннего романа Воннегута «Матерь ночь», где главного героя, вымышленного «американского лорда Гау-Гау» (который встретится потом читателям в одном из эпизодов «Бойни №5») вербует в берлинском Тиргартене загадочный майор Виртанен из Военного Отдела – также обладавший чикагским акцентом.

МЭРИЛИ ТАК И НЕ УЗНАЛА почти до самого конца войны, что ее муж был агентом британской разведки. Она тоже считала его безвольным шутком, и прощала ему это — ведь он обеспечил ей такую беззаботную жизнь и так хорошо к ней относился.

— Его слова, обращенные ко мне, были неизменно остроумными, добрыми, заботливыми. Ему нравилось быть со мной. Мы обожали танцевать вместе — просто танцевать и танцевать, — сказала она.

Вот вам и еще одна женщина в моей жизни, помешавшаяся на танцах, согласная танцевать с кем угодно, лишь бы партнер в этом понимал.

- С Дэном Грегори ты никогда не танцевала.
- Он не хотел. И ты тоже не хотел.
- Я не мог. Никогда не умел этого делать.
- Достаточно захотеть, и сумеешь, — сказала она.

* * *

Когда она узнала, что ее муж был британским шпионом, ее это никак не тронуло.

— У него висели разные мундиры, каждый для своего случая, но мне было все равно, какой в них во всех был смысл. Все они были покрыты какими-то значками, значение которых меня совершенно не интересовало. Я никогда не спрашивала: «Бруно, а за что ты получил эту медаль? Зачем тут на рукаве вышит орел? Что это за кресты на воротнике?». И его признание, что он шпионит в пользу англичан — это были тоже всего лишь милитаристические

побрякушки. Ни ко мне, ни к нему это не имело никакого отношения.

Она сказала, что, получив известие о его расстреле, она ожидала обнаружить в себе какую-то зияющую пустоту, но пустоты не было. Тут-то она и поняла, что на самом деле ее неизменным спутником и другом был не он, а все итальянцы сразу.

— Они с такой любовью относились ко мне, где бы я с ними ни встречалась, и я любила их в ответ, Рабо, и мне было совершенно наплевать, какие на них навешены побрякушки!

— Здесь мой дом, Рабо, — сказала она. — И если бы не помешательство Дэна Грегори, я никогда бы здесь не оказалась. В голове армянина из Москвы не хватало винтика, и благодаря этому я нашла свой дом, свой дом, Рабо.

* * *

— А теперь ты расскажи мне, чем были заняты *твои* годы, — сказала она.

— Знаешь, я почему-то кажусь себе умопомрачительно неинтересным.

— Ну, полно, полно. Ты ведь успел потерять глаз, жениться, дважды воспроизвести себя, и к тому же снова заняться живописью. Жизнь просто ломится от событий!

Я отметил про себя, что некоторые события моей жизни — впрочем, с того восхитительного дня Святого Патрика их было очень немного — действительно наполняют меня радостью и гордостью.

Моим приятелям в таверне «Под кедром» были известны несколько моих солдатских баек. Я пересказал их и ей тоже.

Она жила полной жизнью. Я собирал байки. Она нашла свой дом. Я был уверен, что мне своего дома не найти никогда.

* * *

Солдатская байка номер один:

«Во время боев за освобождение Парижа я решил разыскать Пабло Пикассо, он же дьявол в представлении Дэна Грегори. Просто чтобы проверить, что с ним все в порядке. Он чуть приоткрыл дверь, не снимая с нее цепочки, сказал мне, что очень занят, и попросил оставить его в покое. В двух кварталах от его дома продолжали бить орудия. Потом он снова закрыл дверь и запер ее на замок».

Мэрили засмеялась и сказала:

— Может быть, он догадывался, какие ужасы рассказывал о нем наш хозяин и повелитель.

И добавила, что если бы она знала, что я еще жив, то сохранила бы один итальянский журнал. В этом журнале была иллюстрация, которую только мы с ней могли оценить по достоинству — коллаж, собранный Пикассо из плаката, рекламировавшего американские сигареты. Он совместил разрезанные части плаката, изображавшего трех ковбоев, куривших в ночи у костра, так, что получилась фигура кошки.

Скорее всего, ни один знаток живописи на свете, кроме меня и Мэрили, не смог бы различить, что автором разъятого плаката был Дэн Грегори.

Вот такая интересная подробность.

* * *

— Возможно, это был единственный случай, когда Пикассо обратил хоть какое-то внимание на работу самого успешного американского художника, — предположил я.

— Возможно, — сказала она.

* * *

Солдатская байка номер два:

«Когда я попал в плен, до конца войны оставалось всего несколько месяцев. Меня подлатали в немецком госпитале, а потом отправили в лагерь к югу от Дрездена. К тому времени есть там было уже почти нечего. Во всей Германии, вернее, в том, что от нее осталось, все было уже съедено. Мы все довольно скоро отощали — все, за ис-

ключением того, кого мы выбрали, чтобы он делил нашу скудную пищу на равные части. Он никогда не оставался с едой наедине. Мы следили за ее раздачей по группам, а потом он делил ее на всех, опять же под нашим наблюдением. И все же он выглядел сытым и довольным, в то время как все остальные превратились в ходячие скелеты. Потом мы заметили, что он бессознательно отправляет себе в рот крошки, падающие на стол, и волокна, прилипающие к половнику».

Кстати, то же самое невинное явление объясняет и поразительный достаток многих моих соседей по пляжу в обе стороны. В их руки вверены остатки богатства этой по большей части обанкротившейся страны, по причине их вящей честности. Естественно, оброненные с ловких пальцев и столовых приборов кусочки этого богатства не могут не оказаться у них во рту.

* * *

Солдатская байка номер три:

«Однажды в мае, уже под вечер, нас вывели строем из лагеря на природу и погнали куда-то. Около трех часов ночи колонну остановили, и нам было приказано устраиваться на ночлег прямо под открытым небом. Проснувшись на рассвете, мы обнаружили, что наши охранники исчезли, и мы находимся на краю ложбины, вблизи руин старинной сторожевой башни. В долине под нами, среди пасторальных лугов и полей, расположились тысячи и тысячи таких же, как мы, людей, которых тоже привели сюда и бросили их охранники. И не только военнопленных — там были и узники концлагерей, и угнанные в рабство трудящиеся с фабрик, и выпущенные из тюрем уголовники, и бывшие обитатели клиник для умалишенных. Решено было отогнать нас всех как можно дальше от городов, чтобы мы там все не разнесли.

С нами были и просто беженцы, которые все отходили и отходили, кто от наступления русского фронта, кто от американского и английского. Эти два фронта наконец встретились к северу и к югу от нас.

И еще с нами были сотни военных в немецких мундирах, при вполне исправном оружии, но тихие и покорные. Они ожидали прихода кого-нибудь, кому можно было бы сдать».

— Царство Умиротворения, — сказала Мэрили.

* * *

Я перевел разговор с войны на мир. Я сказал, что после долгого перерыва снова вернулся к искусству, и что к своему собственному удивлению создаю теперь серьезные полотна, от одного вида которых Дэн Грегори перевернулся бы в своем славном гробу в Египте, полотна, подобных которым мир еще не видел.

Она вскрикнула в притворном ужасе:

— О боже, только не искусство. Из этого болота мне, я чувствую, уже не выбраться.

Но потом она внимательно выслушала мой рассказ о веселой шайке художников из Нью-Йорка, картины которых ничем не походили друг на дружку, за исключением одной особенности — все они были совершенно ни о чем, кроме самих себя.

Когда я выговорился наконец, она вздохнула и покачала головой.

— Самое последнее из всех мыслимых действий художника над холстом, и вы его произвели. Американцы — большие специалисты по написанию слова «конец».

— Надеюсь, что мы делаем вовсе не это.

— А я как раз надеюсь, что именно это вы и делаете, — сказала она. — Мужчины вели себя по отношению к женщинам, детям и всем прочим беззащитным созданиям в мире *так*, что теперь не только каждая картина, но и каждое музыкальное произведение и стихотворение, каждая статуя, пьеса и книга, ими создаваемая, обязана провозглашать единственно вот что: «Для этого прекрасного места мы слишком ужасны. Мы сдаемся. Все. Конец!».

* * *

Она сказала, что наша внезапная встреча для нее — неожиданная удача, потому что, по ее мнению, я только что предоставил ей решение загадки, мучившей ее уже много лет и связанной с внутренней отделкой: стоит ли помещать в бестолковых нишах между колоннами в ротонде картины, и если да, до какого сорта?

— Я хочу оставить о себе память в этом здании, пока оно мне еще принадлежит, — объяснила она, — и ротонда — лучшее для этого место.

— Сначала я хотела нанять женщин и детей, чтобы они расписали стены картинами жизни в концлагерях, видами на бомбардировку Хиросимы и сценами посева противопехотных мин. Может, еще добавить парочку ведьм на костре и древнюю забаву — скармливание христиан хищникам. Но теперь мне кажется, что подобные вещи в каком-то смысле только распалют мужчин, толкают их к еще большей жестокости, к новым разрушениям, как бы говорят им: «Ага! Мы сравнялись могуществом с богами! Ничто и никогда не может остановить нас от самых ужасающих действий, если нам хочется совершать эти самые ужасающие действия». Так что твоя идея, Рабо, гораздо лучше моей. Мужчины станут приходить в мою ротонду, и ничто на уровне их глаз не станет им потворствовать. Стены возопят к ним: «Конец! Конец!».

* * *

Так было положено начало второй по значимости коллекции картин американских абстрактных экспрессионистов — после моей собственной, которая в тот момент как раз превращала меня и мою жену в нищих, постоянно требуя оплаты места на складе. Никому эти картины не были нужны даже задаром!

А Мэрили выдала мне заказ сразу на десять из них, не глядя, по моему выбору, по тысяче долларов за штуку!

— Это что, серьезно? — спросил я.

— Контесса Портомаджоре всегда говорит серьезно, — ответила она. — Благородства и денег у меня теперь не

меньше, чем у всех предыдущих обитателей этого дома, так что я приказываю, а ты подчиняешься.

Я и подчинился.

* * *

Она спросила, придумали ли мы уже имя для нашей шайки, и выяснила, что нет, не придумали. Общее название нам дали через какое-то время критики⁸¹. Она сказала, что нам нужно назвать себя «Бригада Бытия», поскольку мы возвращаемся к началу всего, когда еще не было создано такое понятие, как сюжет.

Мне эта идея очень понравилась, и по возвращении я попытался склонить к ней остальных. Но ничего не вышло.

* * *

Мы все говорили и говорили, пока за окном не стемнело. Наконец она сказала:

— А теперь тебе пора уходить.

— Почти то же самое ты сказала мне в день Святого Патрика четырнадцать лет назад.

— Надеюсь, на этот раз ты не забудешь обо мне так же скоро.

— Я никогда не забывал о тебе!

— Но ты забыл обо мне *беспокоиться*.

— Клянусь честью, контесса, — сказал я и встал, — никогда больше я этого не забуду.

И больше мы ни разу не виделись. Впрочем, мы обменивались письмами. Одно из ее писем я раскопал в своих архивах. На нем стоит дата 7 июня 1953 года, через три года после нашей встречи. Она упрекает нас, что мы так и не выполнили обещания изображать на картинах ничто — что она с легкостью различает на каждой из них хаос.

Я ответил ей телеграммой. У меня осталась копия:

⁸¹ Самого Воннегута часто причисляют к созданной критиками — искусственно, по его словам — группе «черных юмористов».

ХАОСА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ТЧК ПРИЕДЕМ
ЗАКРАСИМ ТЧК СГОРАЕМ СТЫДА ТЧК СВЯТОЙ
ПАТРИК

* * *

Сводка событий из настоящего: Пол Шлезингер добровольно сдался в психиатрическое отделение армейского госпиталя в Риверхэд. Я тут ничего не мог поделать с его телом, которое продолжало выбрасывать в его кровь вредные химические соединения, и он постепенно становился угрозой и для себя самого. Мадам Берман вздохнула спокойнее, как только он смылся.

Пусть уж за ним приглядывает Сэм, его дядюшка.

МНЕ В ЖИЗНИ КОЕ-ЧЕГО приходится стыдиться, но больше всего мое бедное сердце разрывает моя полная несостоятельность в качестве мужа доброй и храброй Дороти, и вытекающее из этого отчуждение плоти и крови моей, Анри и Терри, от их отца, то есть меня самого.

Знаете, что записано напротив имени «Рабо Карабелян» в великой Книге Судного Дня?

«Солдат: отлично.

Муж и отец: барахло.

Серьезный художник: барахло».

* * *

Как только я вернулся из Флоренции, расплата не заставила себя ждать. Добрая и храбрая Дороти и оба моих сына слегли со свежим вариантом жестокого гриппа — еще одного послевоенного чуда. Был вызван врач, который осмотрел их и обещал прийти еще раз, а соседка сверху взяла на себя их питание. Все сошлись на том, что до тех пор, пока Дороти не встанет на ноги, я буду в доме только мешаться, и что мне лучше было бы провести следующие несколько ночей в мастерской, которую мы с Китченом снимали — с видом на Юнион-сквер.

Если бы нам только догадаться тогда, что правильнее было бы мне провести там следующие лет сто!

— Я сейчас уйду, но сначала я хотел бы поделиться с тобой хорошей новостью, — сказал я.

— Что, мы не переезжаем в этот чертов дом в этой богом забытой дыре?

— Нет, не это. И тебе, и детям там обязательно понравится — там океан и совершенно чистый воздух.

— Значит, кто-то предложил тебе работу в тех местах?

— Нет.

— Но ты хотя бы собираешься ее там искать, — сказала она. — Ты возьмешь свой диплом управляющего, в который мы все так много вложили, и будешь с ним в руках обивать пороги до тех пор, пока какая-нибудь приличная компания не возьмет тебя в штат и у нас не появится надежный источник дохода.

— Радость моя, дай мне договорить, — сказал я. — Во Флоренции я продал картин на десять тысяч.

В нашей подвальной квартирке хранилось столько огромных полотен, что больше всего она напоминала чулан для театральных декораций. Картины я принимал в качестве оплаты за долги. Поэтому моя жена выдала вот какую шутку:

— Ну, тогда тебя скоро посадят. У нас их здесь и на три доллара не наберется.

То есть, со мной она была так несчастна, что у нее даже прорезалось чувство юмора. Когда я на ней женился, ничего подобного за ней не водилось.

* * *

— Я думала, тебе уже тридцать четыре года, — сказала она. Ей самой было всего двадцать три!

— Мне и есть тридцать четыре года.

— Тогда веди себя соответственно. Веди себя как женатый мужчина с детьми, которому стукнет сорок, прежде чем он успеет оглянуться, и тогда никакой работы, кроме раскладывания покупок по пакетам в магазине или заправки машин на бензоколонке ему уже никто не предложит.

— Как-то излишне категорично, тебе не кажется?

— Это жизнь такая категоричная, а не я такая категоричная. Рабо, куда делся тот человек, за которого я вышла? У нас же были такие разумные планы, на такую разумную жизнь. И тут ты встретил этих... этих оборванцев.

— Я всегда хотел стать художником.

— Меня ты об этом в известность не поставил.

— Я раньше не знал, что это возможно. Теперь знаю.

— Поздно! И для мужчины с семьей — слишком опасно. Проснись! У тебя хорошая семья, чего тебе еще нужно? Всем остальным этого достаточно.

— Если ты меня любишь, то могла бы и поддержать меня как художника.

— Я тебя люблю, но я ненавижу твоих дружков и твои картины, — ответила она, — и когда я представляю себе наше будущее, мне страшно за себя и за малышей. Раба, война уже кончилась!

— Это ты к чему? — спросил я.

— Больше не надо делать ничего безумного, великого, опасного и безнадежного, — сказала она. — Медалей у тебя и так хватает. Завоевывать Францию уже не обязательно.

В последнем предложении содержался намек на нашу высокопарную болтовню о переносе столицы мирового изобразительного искусства из Парижа в Нью-Йорк.

— Они ведь были за нас, — добавила она. — Почему же ты собрался на них войной? Что они тебе такого сделали?

Этот вопрос застал меня уже за дверью квартиры, поэтому в завершение нашего разговора ей пришлось повторить то, что сделал в отношении меня Пикассо — то есть, захлопнуть за мной эту дверь и запереть ее.

Мне было слышно, как она там заплакала. Бедная, бедная девочка.

* * *

Время было уже к вечеру. Я отправился с чемоданом в нашу с Китченом мастерскую. Китчен спал на своей койке. Прежде чем будить его, я оценил, чем он был занят в мое отсутствие. Он изрезал все свои творения опасной бритвой с рукояткой из слоновой кости, доставшейся ему от деда со стороны отца, бывшего председателя правления Нью-Йоркской Центральной железной дороги. Мир ис-

кусства нисколько не обеднел в результате его действий. Я, естественно, подумал: «Просто чудо, что он собственные вены не перерезал вдобавок».

Передо мной открывался вид на прекрасного, крупного, спящего представителя белой расы, способного, подобно Фреду Джонсу, послужить моделью для иллюстрации Дэна Грегори к рассказу об идеальном американце. И когда мы с ним выходили на люди, мы в *самом деле* смотрелись как Джонс и Грегори. Более того, Китчен выказывал мне при этом такие же знаки уважения, какие Фред оказывал Грегори — просто возмутительно! Фред-то действительно был туповатым добродушным олухом, в то время как мой распростертый приятель закончил юридический факультет в Йеле, и вполне мог бы стать профессиональным пианистом или теннисистом.

Вместе с той бритвой ему в наследство достался целый букет талантов. Его отец превосходно играл на виолончели, был выдающимся шахматистом и ботаником, а также корпоративным юристом и при этом первопроходцем в области защиты гражданских прав чернокожего населения.

Мой спящий товарищ также превзошел меня и в армейском чине, дослужившись до десантного подполковника, и во всевозможных героических проделках! Но он предпочел возвысить меня в своих глазах, и все потому, что мне с легкостью удавалось то, что ему не было доступно никаким образом — запечатлеть в рисунке все, на что только падал мой взгляд.

Что же до моих собственных работ, стоявших здесь же в мастерской и представлявших собой огромные полотнища чистого цвета, перед которыми я, опьяненный, мог стоять часами — они должны были представлять собой всего лишь *начало пути*. Я ожидал, что они будут все более и более усложняться по мере моего медленного, но верного продвижения по направлению к тому, что так долго от меня ускользало: к душе, к отсутствующей душе.

* * *

Я его разбудил и пригласил на ранний ужин в таверне «Под кедром». О крупном договоре, который мне удалось повернуть во Флоренции, я не упомянул, потому что к нему это не относилось. Краскопульт попадет к нему в руки только через два дня.

Кстати, к моменту смерти контессы Портомаджоре ее коллекция насчитывала *шестнацать* работ Терри Китчена.

* * *

«Ранний ужин» означал также раннее пьянство. За нами там уже был закреплен столик в глубине зала, и за ним уже сидели трое художников. Я обозначу их «Художники X, Y и Z». Дабы не быть обвиненным в пособничестве филистерам, жаждущим услышать, будто первые абстрактные экспрессионисты — банда пьяниц, сразу оговорюсь, как этих троих *не* звали.

Их не звали, повторяю, *не* звали: Уильям Базиотис, Джеймс Брукс, Аршиль Горки, который к тому же был уже мертв, Адольф Готлиб, Ганс Гофман, Филип Густон, Виллем де Кунинг, Барнет Ньюмен, Джексон Поллок, Эд Рейнхардт, Марк Ротко, Сид Соломон, Клиффорд Стилл и Брэдли Уокер Томлин⁸².

Поллок, на самом деле, заявился ближе к вечеру, но он в то время был в завязке. Он просидел недолго, не сказав ни единого слова, и ушел домой⁸³. Кроме нас, там был еще один посетитель — вообще не художник, насколько нам было известно, а портной. Его звали Исидор Финкельштейн, и он держал мастерскую прямо над таверной. Приняв пару стаканов, и он тоже был способен болтать о

⁸² Воннегут, на жаргоне актеров, «тянет шлейф» — в алфавитном списке, представляющем собой почти полный состав художников, находившихся у истоков абстрактного экспрессионизма, фигурирует также упомянутый несколькими главами выше вымышленный сын венгерского лошадиника Сид Соломон.

⁸³ События этой главы происходят в 1950 году; как раз именно в это время Поллок сознательно отказался от техники «капания», принесшей ему известность.

живописи не хуже многих. Он рассказал, что его дед перед Первой Мировой работал портным в Вене и сшил несколько костюмов для художника Густава Климта.

Мы перешли к обсуждению вопроса, почему, несмотря на выставки, вызвавшие восторг у некоторых критиков и вылившиеся потом в большую статью о Поллоке в журнале «Лайф»⁸⁴, большинство из нас до сих пор еле сводит концы с концами.

Мы скоро пришли к выводу, что на пути у нашего успеха стоит наш внешний вид и, в частности, наша одежда. Мы шутили, конечно. Тогда вообще все, что мы говорили, обращалось в шутку. До сих пор не могу понять, каким образом всего шестью годами позже Поллок и Китчен воспримут все так до жути серьезно.

* * *

Был там и Шлезингер. Собственно, там я с ним и познакомился. Он собирал материал к роману о художниках — к одному из десятков романов, которые он так и не написал.

Помню, что когда мы расходились, он обратился ко мне:

— Просто удивительно, вы все полны такой страсти, и при этом все совершенно несерьезные.

— Жизнь вообще одна большая шутка, — сказал я. — Это же очевидно.

— Мне — нет, — сказал он.

* * *

Финкельштейн объявил, что с радостью поможет в решении проблемы с одеждой любому, кто на нее пожалуется. Помощь его была доступна за небольшой залог и рассрочку остального платежа на выгодных условиях. Не успел я оглянуться, как Художники X, Y и Z, а также и мы с

⁸⁴ 2 полных разворота в выпуске от 8 августа 1949 года, под заголовком «Поллок — величайший американский художник?».

Китченом, уже стояли в мастерской Финкельштейна, и он снимал с нас мерки на костюмы. Поллок и Шлезингер поднялись с нами, но только в качестве зрителей. Денег ни у кого из них не было, поэтому в соответствии со своей ролью я внес задаток за всех, расплатившись аккредитивами, которые остались от поездки во Флоренцию.

Кстати, Художники X, Y и Z отдали мне этот долг картинами, следующим же вечером. Когда Художника X вышвырнули из клоповника, где он снимал комнату, за то, что он устроил пожар в своей постели⁸⁵, я выдал ему ключ от нашей квартиры. Так что он и двое других успели занести картины и ретироваться, прежде чем у бедной Дороти появилась возможность себя защитить.

* * *

Портной Финкельштейн на войне был настоящим убийцей, как и Китчен. Мне так и не довелось⁸⁶.

Финкельштейн воевал наводчиком в Третьей Танковой армии под командованием Паттона. Снимая с меня мерку на костюм, который у меня, кстати, сохранился до сих пор, он рассказывал с полным ртом булавок, как какой-то мальчишка подорвал из гранатомета гусеницу на их танке за два дня до окончания войны в Европе.

Его застрелили, и только потом разглядели, что он всего лишь мальчишка.

* * *

Вот какая неожиданность: через три года, когда мы все постепенно разбогатели, а Финкельштейн умер от инфаркта, выяснилось, что и он, втайне ото всех, тоже был художником!

⁸⁵ Автобиографическая деталь: Воннегут устроил пожар в своей манхэттенской квартире на 48-й улице, заснув однажды с горячей сигаретой.

⁸⁶ Часто, когда в интервью речь заходила о его военном опыте, Воннегут – как и Карабекян на протяжении всей книги – подчеркивал, что никого не убил.

Рахиль, его молодая вдова, похожая, как я теперь понимаю, на Цирцею Берман, устроила ему персональную выставку, прежде чем закрыть навсегда его мастерскую. Приземленные, но основательно сделанные холсты: он старался писать как можно более предметно, совсем как двое других героев войны, Уинстон Черчилль и Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.

Он любил краски, как и они. Он ценил нашу действительность, как и они. Такой вот был художник Исидор Финкельштейн.

* * *

После снятия мерок мы снова спустились в таверну, где намеревались продолжить есть, пить и болтать, болтать, болтать, и тут к нам присоединился явно богатый, элегантно одетый джентльмен лет шестидесяти. Я его никогда раньше не видел, как, впрочем, и остальные, насколько я мог судить.

— Говорят, вы все — художники, — начал он. — Вы позволите мне посидеть тут немного и послушать ваш разговор?

— Большинство из нас — художники, — поправил я.

Грубить ему в наши планы не входило. Он мог оказаться коллекционером или членом правления какого-нибудь серьезного музея. Как выглядели критики и посредники, нам было хорошо известно. С его честным видом он очевидно не принадлежал ни к одной из этих низменных профессий.

— Большинство — художники, — повторил он. — О! То есть, вам проще будет указать мне, кто таковым не является.

Финкельштейн и Шлезингер причислили себя к этому меньшинству.

— А, не угадал, — сказал он и показал на Китчена. — Вот про него я бы тоже не сказал, что он художник, несмотря на беспорядок в одежде. Музыкант — да, юрист, профессиональный спортсмен — пожалуйста. Но художник? Ни за что бы не подумал.

Да он просто ясновидец, пришло мне тогда в голову — прямой наводкой по истинному положению вещей с Китченом. Он, кроме того, не спускал с Китчена глаз, как будто и в самом деле читал его мысли. Почему вдруг такой интерес к неизвестному художнику, не создавшему еще ни одной примечательной картины, когда прямо рядом с ним сидел Поллок, работы которого служили причиной таких бурных разногласий?

Он спросил Китчена, не служил ли тот случайно в армии во время войны.

Китчен ответил утвердительно. Уточнять он не стал.

— Это как-то повлияло на ваше решение стать художником? — спросил пожилой джентльмен.

— Нет, — сказал Китчен.

Шлезингер потом говорил мне, что война заставила Китчена стыдиться своего безбедного происхождения и той легкости, с которой он выучился играть на рояле, поступал в лучшие школы и университеты и с блеском их заканчивал, обыгрывал кого угодно в любую игру, в мгновение ока дослужился до подполковника, и так далее.

— И вот, чтобы познакомиться наконец с настоящей жизнью, — заключил Шлезингер, — он и выбрал одну из тех немногих сфер человеческой деятельности, в которых волей судьбы был безнадежным профаном.

Китчен примерно то же самое и сказал своему собеседнику.

— Живопись — это мой Эверест, — сказал он.

Эверест тогда еще не был покорен. Это случится только в 1953 году, примерно в то же время, что и похороны Финкельштейна и его персональная выставка.

Пожилой джентльмен откинулся на спинку стула. По всей видимости, этот ответ пришелся ему по душе.

Но потом он, по моему мнению, уж слишком перешел на личности и начал расспрашивать, обладает ли Китчен собственными средствами или же его семья оказывает ему помощь на протяжении столь сложного восхождения. Мне было известно, что Китчен станет весьма состоятельным человеком, если переживет отца и мать, но что его родители отказались поддерживать его деньгами в надежде, что

это заставит его стать наконец юристом, или заняться политикой, или пойти работать на биржу — где его ожидал гарантированный успех.

Мне хотелось, чтобы Китчен ответил пожилому джентльмену, что это не его дело. Но Китчен вместо этого все ему подробно рассказал — и когда он закончил, на его лице было выражение, означающее готовность к следующему вопросу, каким бы он ни оказался.

Вот какой был следующий вопрос:

— Вы, конечно, женаты?

— Нет, — сказал Китчен.

— Но вы, по крайней мере, предпочитаете женщин?

Это он спрашивал человека, который незадолго до конца войны махал членом на чемпионском уровне.

— В настоящий момент, — сказал Китчен, — женщинам от меня не будет никакого толка, как не будет его и мне от них.

Старик встал.

— Благодарю вас, что вы так вежливо и откровенно поговорили со мной, — сказал он.

— Не за что, — отозвался Китчен.

Пожилой джентльмен удалился. Мы некоторое время строили догадки, кто он такой и чем занимается. Помню, Финкельштейн отметил, что понятия не имеет, откуда он сам, но что костюм у него из Англии.

* * *

Я сказал, что на завтра мне нужно будет взять машину напрокат — поехать подготовить дом к переезду моей семьи. Кроме того, мне хотелось еще раз поглядеть на снятый мною амбар для картошки.

Китчен спросил, можно ли ко мне присоединиться, и я сказал: «Давай».

А в Монтоке его дожидался краскопульт. Судьба!

* * *

Прежде чем уснуть на своей койке той ночью, я спросил у него, что он думает о личности загадочного джентльмена, подвергнувшего его таким внимательным расспросам.

— У меня есть одна совершенно безумная идея, — сказал он.

— Какая?

— Я, конечно, могу ошибаться, но кажется, это был мой отец. Выглядит, как папа, говорит, как папа, одевается, как папа, отпускает едкие шутки, как папа. Рабо, я смотрел за ним в оба и все повторял про себя: «Или это очень ловкая подделка, или это в самом деле человек, который произвел меня на свет». Послушай, вот ты умный, Рабо, и ты мой лучший и единственный друг. Скажи мне честно: если он всего лишь старательно прикидывался моим отцом, как ты думаешь, на кой ему это могло бы быть нужно?

Но к нашему с Китченом роковому путешествию я взял напрокат не машину, а грузовичок. Вот вам судьба: если бы я не взял грузовик, Китчен бы сейчас вполне мог работать адвокатом, поскольку никакого способа впихнуть краскопульт в тот автомобиль, который я собирался взять, не было.

Время от времени, хотя, видит Бог, время это наступало недостаточно часто, я пытался придумать что-нибудь, что немного скрасило бы жизнь моей жене и моей семье в целом, и примером может служить этот грузовик. Я собирался хотя бы вывезти из нашей квартирки холсты, поскольку бедную Дороти от них буквально тошнило, даже когда она была в остальном здорова.

— Ты случайно не собираешься развесить их в новом доме? — спросила она.

Что я как раз и собирался. С просчетом ситуации на ход вперед у меня всегда были проблемы, но я ответил ей:

— Нет.

И тут же разработал новый подход — поместить картины в амбар для картошки. Впрочем, этого я вслух не сказал. Я еще не набрался достаточно храбрости, чтобы сообщить ей об амбаре. Но она каким-то образом уже проведала. Она также каким-то образом проведала, что я купил прошлым вечером себе, Китчену и Художникам X, Y и Z по сшитому на заказ костюму наилучшей работы, из наилучшего сукна.

— Сунь их в свой амбар, — сказала она, — и засыпь сверху картошкой. Картошка нам всегда пригодится.

Если подумать, сколько сейчас стоят некоторые картины из того грузовика, перевозить их надо было бы не в нем, а в бронированном лимузине в окружении полицейских машин сопровождения. Для меня они и тогда представляли некоторую ценность, хотя и далеко не такую. Так что я все же не решился поместить их в затхлый амбар, где сроду не находилось ничего, кроме картошки, а также земли, бактерий и грибков, которым так нравилось к ней липнуть.

Вместо этого я снял чистое, сухое помещение, с дверью и замком, на складе «Мой милый дом». Арендная плата за это помещение съела за многие годы значительную часть моих доходов. Дурная привычка помогать своим приятелям-художникам, попавшим в передрягу, любой суммой денег, до которой я мог дотянуться, а в уплату принимать картины, со мной тоже осталась, но по крайней мере Дороти не пришлось больше наблюдать последствия этой привычки. Все до одной картины, отданные мне с тех пор за долги, отправлялись из мастерских нищих художников напрямик в «Мой милый дом».

Когда мы с Китченом выносили из квартиры последнее полотно, она сказала нам вдогонку:

— Чем мне нравятся Хэмптоны, так это тем, что время от времени там встречаются указатели с надписью «Городская свалка».

Если бы Китчен полностью вжился в роль Фреда Джонса, позволив мне играть Грегори, он сам вел бы грузовик. Однако он был без всякого сомнения пассажиром, а я — его шофером. За свою прежнюю жизнь он привык к услугам шоферов, и поэтому даже не задумался, прежде чем забраться на правое сиденье.

Мы говорили о моей семейной жизни, о войне, о Депрессии, о том, насколько мы с Китченом были старше по

сравнению с остальными ветеранами, вернувшимися с войны.

— Осесть и обзавестись семьей мне полагалось уже много лет назад, — сказал я. — Но я же никак не мог этого сделать, находясь в правильном возрасте. Да и женщин я никаких тогда не знал.

— А в кино ветераны как раз нашего возраста, или старше, — сказал он.

Это правда. В кино редко показывали тех младенцев, на долю которых выпала самая тяжелая военная работа, бои на местности.

— Ну да, — сказал я, — при том, что большинство актеров никогда на войне не бывали. И в конце изматывающего съемочного дня, где на площадке гремели холостые выстрелы и массовка отплеывалась томатным соком, они возвращались домой к женам, детям и личным бассейнам.

— Через пятьдесят лет молодежь так и будет представлять себе нашу войну, — сказал Китчен. — Старики, холостые патроны и томатный сок⁸⁷.

Так оно и будет. Так оно и есть.

— Из-за кино, — предсказал Китчен, — никто не захочет верить, что воевали-то как раз младенцы.

* * *

— Три года, вычеркнутых из жизни, — сказал он о войне.

— Я-то завербовался, не забывай, — отозвался я. — Так что из моей — все восемь. Так и улетучилась молодость, и я бы, черт возьми, желал получить ее обратно.

Бедная Дороти. Она думала, что вышла за зрелого, чадолюбивого отставного офицера, а получила вместо

⁸⁷ Отголоски истории (автобиографической), изложенной в первой главе «Бойни №5» – разговора с Мэри О'Хара, женой единственного фронтового друга Воннегута, где она резко выступила против написания книги о Дрездене, потому что «вы тогда были детьми. Делать вид, что вы были мужчинами, как Джон Уэйн или Синатра – нечестно по отношению к будущим поколениям. Из-за вас война будет хорошо выглядеть».

этого предельно самовлюбленного безалаберного обормота лет девятнадцати!

— Ничего не могу поделать, — сказал я. — Моя душа прекрасно знает, что мое мясо плохо себя ведет, и ей стыдно. Но мое мясо все равно плохо и глупо себя ведет.

— Чего-чего? Твое что?

— Моя душа и мое мясо.

— Они у тебя что, отдельно?

— Да уж надеюсь, — сказал я. Потом засмеялся. — Не хотел бы я, чтобы мне пришлось отвечать за свое мясо.

Я рассказал ему, наполовину в шутку, наполовину всерьез, как я представляю себе души людей, включая и свою собственную — как гибкие трубки наподобие ламп дневного света. Единственное, на что способна такая трубка — получать известия о том, что происходит с мясом, а повлиять на него она никак не может.

— Так что когда кто-нибудь делает что-нибудь ужасное, — сказал я, — я произвожу фленшеровку, а потом прощаю.

— *Фленшеровку*? Что такое «фленшеровка»?

— Это то, что китобои делали с китовыми тушами, когда вытягивали их на палубу. Обдирали шкуру, ворвань, мясо, пока не оставался один скелет. То же самое я проделываю в своих мыслях с людьми — избавляюсь от мяса, чтобы увидеть неприкрытые души. И прощаю их.

— Где же ты ухитрился набрести на такое слово — «фленшеровка»? — спросил он.

Я ответил ему:

— «Моби Дик»⁸⁸, с иллюстрациями Дэна Грегори.

* * *

Потом мы поговорили о его отце — который, кстати, все еще жив, и которому недавно исполнилось ровно сто! Представьте себе.

⁸⁸ Во всей книге это слово встречается всего однажды, в начале 72-й главы. Кстати, Мелвилл подчеркивает, что кит во время этого процесса находится в воде рядом с судном, а не на его палубе.

Китчен боготворил отца. Он сказал мне, что ни в чем не хочет с отцом соревноваться или пытаться его превзойти.

— Не дай бог, — сказал он.

— Не дай бог что?

— В чем-то его превзойти.

Китчен рассказал, что когда он учился на юридическом факультете Йеля, в университете выступал с лекцией поэт Конрад Эйкен, который среди прочего объяснил, что сыновья талантливых людей идут по стопам своих отцов, но в те из областей, где отцы отличились менее всего. Отец самого Эйкена был выдающимся врачом, политиком и донжуаном, но также мнил себя поэтом.

— Стихи его ни к черту не годились, и потому Эйкен пошел в поэты, — сказал Китчен. — Я со своим папашей никогда бы так не поступил.

* * *

А вот как он и в самом деле поступит со своим отцом шестью годами позже: во дворе своей лачуги милях в шести отсюда выстрелит в него из пистолета. Китчен был, по обыкновению, пьян, а отец пришел в бессчетный раз умолять его пойти лечиться от алкоголизма. Доказать, конечно, ничего невозможно, но этот выстрел не мог быть ничем иным, как демонстративным жестом.

Как только Китчен увидел, что, судя по всему, убил собственного отца, хотя, как потом выяснилось, тот всего лишь упал, получив пулю в плечо, то немедленно решил, что ему остается только вложить дуло себе в рот и застрелиться.

Несчастный случай.

* * *

И именно во время того рокового путешествия я впервые увидел Эдит Тафт Фэрбенкс, которая впоследствии станет моей второй женой. Аренду амбара я обговаривал с ее мужем, милым бездельником, который мне

показался тогда бесполезным, но безобидным прожигателем жизни, но с которого я, когда он умер, а я женился на его вдове, всегда старался брать пример.

Словно предрекая будущее, она вышла с ручным енотом в руках. Она волшебным образом приручала любое животное, окружала всеобъемлющей любовью и беззаветной заботой все, что подавало хоть какие-нибудь признаки жизни. И со мной, отшельником в амбаре, она поступила точно так же, когда ей понадобился новый муж: приручила меня чтением стихов о природе и вкусной едой, которую она оставляла у моих раздвижных дверей. Она и первого мужа наверняка тоже приручила, и думала о нем снисходительно и с любовью — еще один неразумный зверек.

Каким именно зверьком она себе его представляла, она не говорила, но я точно знаю, кем она представляла себе *меня*. Она открытым текстом сказала об этом какой-то своей родственнице из Цинциннати на нашей свадьбе, представляя ей меня, вырванного в костюм от Изи Финкельштейна:

— Познакомьтесь, это мой ручной енот.

* * *

И в том же самом костюме меня и похоронят. Так сказано в моем завещании: «Похоронить себя завещаю на кладбище "Зеленый ручей", рядом с могилой моей жены Эдит, в темно-синем костюме с меткой "Сшито Исидором Финкельштейном по заказу Рабо Карабекяна"».

Ему сносу нет.

* * *

Впрочем, это еще в будущем, а вот почти все, что меня окружало, исчезло в прошлом, в том числе и Цирцея Берман. Она закончила книгу и вернулась в Балтимор, уже две недели назад.

В последний вечер, который она провела здесь, она снова потребовала, чтобы я взял ее на танцы, а я снова

отказался. Вместо этого я пригласил ее на ужин в ресторан отеля «Америкэн» в Сэг-Харбор. Теперь этот городок — всего лишь приманка для туристов, но прежде там был китобойный порт. На берегу все еще стоят особняки бесстрашных капитанов, уходивших отсюда вокруг Южной Америки в Тихий океан и возвращавшихся оттуда миллионерами.

В фойе отеля лежит гостевая книга, открытая на начале марта 1849 года: расцвет китобойной промышленности, впавшей в наши дни в такую немилость. В те времена предки Цирцеи все еще обретались в Российской империи, а мои — в Турецкой, то есть, были друг другу врагами.

Мы вкусили омаров, а также умеренно выпили, чтобы развязать языки. Всем известно, что нехорошо зависеть от выпивки. Я обходился без алкоголя все то время, пока жил отшельником в амбаре. Однако накануне отъезда мадам Берман мои чувства к ней представлялись мне настолько противоречивыми, что не выпей я немного, весь ужин прошел бы в гробовом молчании. С другой стороны, после пары бокалов вести машину я не собирался, как, впрочем, и она. Было время, когда вождение в пьяном виде считалось почти доблестью, но это время прошло, прошло.

Так что я нанял одного из дружков Целесты, чтобы он отвез нас туда в родительской машине, а после ужина подобрал и отвез обратно.

* * *

Короче: мне было жаль, что она уезжает. Она привносила в жизнь возбуждение. Иногда возбуждения становилось слишком много — когда она начинала командовать, кому что делать. Поэтому ее отъезд был для меня также и облегчением, так как моя книга тоже близилась к завершению, и больше всего мне теперь хотелось тишины и покоя.

Еще короче: несмотря на несколько месяцев, проведенных вместе, мы остались приятелями. Мы так и не подружились.

Впрочем, после того, как я показал ей содержимое амбара для картошки, это положение изменилось.

Да, вот так вот: одна упорная вдова из Балтимора, перед самым своим отъездом, уговорила наконец одного армянина, старого хрыча, вскрыть запоры на дверях картофельного амбара и включить внутри него прожекторы.

И что же я получил взамен? Думаю, что у меня теперь есть настоящий друг.

ПЕРВОЕ, ЧТО ОНА СКАЗАЛА по возвращении домой из отеля «Америкэн»:

— По крайней мере одной заботой у тебя станет меньше. Я больше не буду донимать тебя требованиями выдать мне ключи от амбара.

— Слава богу! — сказал я.

Думаю, тогда она уже точно знала, что этой ночью так или иначе доберется до этого проклятого амбара.

— Нарисуй мне картинку, — попросила она.

— Что-что?

— Ну, ты ведь у нас такой скромный — то есть, если тебе верить, то придется предположить, что ты вообще ничего не умеешь.

— Кроме маскировки. Вы забыли про маскировку. Я так хорошо умею наводить маскировку, что заработал для своего взвода похвальную грамоту от президента.

— Ладно, маскировка.

— Мы так хорошо наводили маскировку, что половину объектов, скрытых нами от противника, с тех пор так никто и не может найти!

— Ну и неправда.

— У нас праздник, так что естественно, что многое из сказанного сегодня правдой не является. Таковы правила приличия.

* * *

— Ты что, хочешь, чтобы я с собой в Балтимор взяла целую кучу неправды о тебе?

— Всю правду обо мне вы уже наверняка вывели, с вашими удивительными детективными способностями. А сейчас мы просто приятно проводим вечер.

— Я так и не знаю, умеешь ли ты рисовать.

— Это совершенно неважно.

— А тебя послушать, так это — фундамент всей твоей жизни. Ах, да, еще маскировка. Из тебя вышел поганый коммерческий художник, из тебя вышел поганый серьезный художник, и из тебя вышел поганый муж и отец. Твоя великая коллекция живописи оказалась у тебя случайно. Но ты все время с гордостью возвращаешься к одному и тому же: ты, черт возьми, умел рисовать.

— В самом деле, — сказал я. — Я никогда об этом не задумывался, но теперь, когда вы об этом заговорили, похоже, что так оно и есть.

— Так докажи.

— Да ну, невелика заслуга. Я же не Альбрехт Дюрер. Я умею рисовать лучше вас, лучше Шлезингера и кухарки, лучше Поллока и Терри Китчена. Мне от рождения был дан такой талант, но меня бесполезно даже сравнивать с великими рисовальщиками прошлого. Мной восхищались сначала средняя, а потом старшая школа в поселке Сан-Игнасио. Живи я на десять тысяч лет раньше, мной, вероятнее всего, восхищались бы обитатели пещер Ласко, в нынешней Франции. Их запросы в отношении техники рисунка были, полагаю, того же порядка, что и у жителей Сан-Игнасио.

* * *

— Если ты соберешься напечатать свою книгу, — сказала она, — тебе придется приложить к ней хотя бы одну иллюстрацию, доказывающую, что ты умеешь рисовать. Читатели ее просто потребуют.

— Бедняжки. Знаете, самое неприятное свойство старости...

— Ты вовсе не старый.

— Я достаточно пожилой! Так вот, самое неприятное — это постоянно оказываться втянутым в один и тот же

разговор, независимо от того, кто твой собеседник. Шлезингер не верил, что я могу рисовать. Моя первая жена не верила, что я могу рисовать. Моей второй жене не было никакого дела до того, могу я рисовать или нет. Она принесла меня, старого, одинокого енота, из амбара и приучила к дому. Она любила всех зверюшек, а не только тех, которые умели рисовать.

* * *

— И что же ты ответил своей первой жене, когда она сказала, что ты не умеешь рисовать?

— Мы только что переехали из города. Она здесь вообще никого не знала. В доме еще не было подключено отопление, и я развел огонь во всех трех каминах, следуя традиции своих предков-первопоселенцев. А Дороти пыталась познакомиться наконец с живописью, она читала о живописи, раз уж стало ясно, что ей теперь мыкаться с художником. Она никогда не видела меня за рисованием — потому что я полагал, что скоро волшебным образом превращусь в настоящего художника, но только если брошу рисовать и забуду все, что знал об искусстве. И вот Дороти сидела на кухне перед зажженным камином, все тепло из которого улетало в трубу вместо того, чтобы идти внутрь, и читала в журнале слова одного итальянского скульптора, сказанные по поводу первых картин абстрактных экспрессионистов, выставленных в серьезной экспозиции в Европе — на венецианской Бьеннале 1950 года, то есть, в год моего воссоединения с Мэрили.

— И твои картины там были?

— Нет. Только Горки, Поллок и де Кунинг. Так вот, этот итальянский скульптор, тогда якобы очень знаменитый, но о котором сейчас почти никто не помнит, оценил наши усилия вот как: «Забавные эти американцы. Прыгают в воду, не научившись плавать»⁸⁹. Он имел в виду, что

⁸⁹ Эти слова, якобы сказанные перед картиной де Кунинга "Excavation", приписываются итальянскому живописцу (не скульптору) Джорджо Мо-258

мы не умеем рисовать. Дороти тут же ухватилась за это. Ей хотелось сделать мне так же больно, как я делал больно ей. Она сказала: «Так вот в чем дело! Все эти ваши картины выглядят так потому, что ничего реалистического вы изобразить просто не можете, как бы ни старались». В ответ я не сказал ей ни одного слова. Я ухватил зеленый карандаш, которым она записывала на листок бумаги все, что необходимо было починить внутри нашего дома и снаружи от него, и нарисовал на кухонной стене портреты наших сыновей, которые спали в этот момент перед камином в гостиной. Только головы, в натуральную величину. Мне даже не понадобилось заходить в гостиную, чтобы на них посмотреть. Стену я до этого обил гипсокартоном, поверх облупившейся штукатурки. Стыки между листами я еще не обработал и не прошпаклевал, и не замазал шляпки гвоздей. Ничего из этого я так и не сделаю. Удивлению Дороти не было предела. Она воскликнула: «Вот чем тебе нужно заниматься каждый день!»⁹⁰. Вот что я ответил ей, хотя никогда раньше не употреблял матерных слов в ее присутствии, как бы мы ни ругались между собой: «Это, блядь, слишком *просто*».

* * *

— Значит, ты так и не зашпаклевал щели? — спросила мадам Берман.

— Удивительно женский вопрос, — сказал я. — И мой мужественный ответ на него вот каков: «Нет».

— И что стало с портретами? Их закрасили?

— Тоже нет. Следующие шесть лет они так и провели на стене. А потом я вернулся как-то домой вполпьяна и не застал ни жены, ни детей, ни портретов, а только записку

ранди (1890-1964). Его собственные натюрморты были отмечены премией на предыдущей Бьеннале, в 1948 году.

⁹⁰ Сестра Воннегута Алиса была талантливым писателем и скульптором, но забросила оба занятия; когда он один раз попытался отчитать ее за это, она заявила ему, что наличие таланта не подразумевает обязательства его использовать.

от Дороти, где говорилось, что они ушли от меня навсегда. Она вырезала портреты из стены и забрала с собой. На их месте красовались две большие квадратные дыры.

— Ужас какой, — сказала мадам Берман.

— Да. Всего за несколько недель до этого погибли Поллок и Китчен. Мои собственные картины разваливались у меня на глазах. В общем, когда я вошел в этот пустой дом и увидел эти два зияющих квадрата...

Я запнулся.

— Неважно.

— Договаривай, Рабо, — попросила она.

— Я тогда находился ближе всего в своей жизни к тому, — закончил я, — что чувствовал один молодой учитель, мой отец, оказавшийся после бойни в одиночестве посреди своей деревни.

* * *

Среди тех, кто, ни разу не застав меня за рисованием, сомневался, что я умею рисовать, был и Шлезингер. Года через два после того, как мы переселились сюда, он зашел посмотреть, как я работаю в своем амбаре. Я установил перед собой натянутый загрунтованный холст, восемь на восемь футов, и собирался покрыть его слоем «Атласной Дюра-люкс» при помощи валика. Краска была цвета жженой сиены с прозеленью, этот цвет назывался «Венгерская рапсодия». Мне было невдомек, что в то же самое время в моем доме Дороти замазывала «Венгерской рапсодией» все стены в нашей спальне. Но я не об этом.

— Послушай, Рабо, — сказал Шлезингер. — Вот если я тем же самым валиком положу ту же самую краску, можно ли будет сказать, что я создал полотно Карабекяна?

— Без сомнения, — ответил я, — если у тебя в запасе то же самое, что и у Карабекяна⁹¹.

⁹¹ На очень похожий вопрос проходной персонаж по имени Рабо Карабекян совсем иначе отвечал в эпизоде романа «Breakfast of Champions», написанного десятью годами раньше; там же Воннегут описал и общий вид его картин (пленка и сплошной цвет), и образ души как светящейся трубки

– Что, к примеру?

– К примеру, вот это, – сказал я.

В выбоине на полу собралась грязь, и я набрал немного на оба больших пальца. Действуя ими одновременно, я в тридцать секунд набросал на холсте карикатуру на Шлезингера.

– Ни фиги себе! – сказал он. – Я понятия не имел, что ты умеешь так рисовать!

– Перед тобой человек с богатым выбором⁹², – сказал я.

Он ответил:

– Что да, то да.

* * *

Я скрыл этот шарж под парой слоев «Венгерской рапсодии», а поверх наклеил полоски пленки, которые должны были представлять собой чистую абстракцию, но которые для меня втайне были шестью оленями на лесной опушке. Олени расположились вдоль левого края. Справа находилась вертикальная полоса красной пленки, которая для меня, опять же втайне, была душой охотника, наводящего на одного из оленей мушку. Картину я назвал «Венгерская рапсодия №6». Ее у меня купил музей Гутгенхайма⁹³.

Когда эта картина, как и все остальные, начала разваливаться, она находилась в запаснике. Куратор музея,

– но тамошний Карабекян сильно отличается от этого. По рецепту безумного Игрока из «Степного волка» Гессе многие герои Воннегута кочуют из книги в книгу, но поворачиваются к читателю каждый раз разными сторонами.

⁹² По мнению Воннегута, Поллок спился и погиб именно из-за отсутствия выбора: когда понял, что всю жизнь вынужден теперь создавать и продавать одно и то же – так как от него это ожидалось, но и в определенной степени потому, что не умел рисовать.

⁹³ Этот частный музей в Манхэттене, открывшийся в 1959 году, действительно содержит произведения современного искусства – в отличие от Музея Современного Искусства, чья коллекция ограничена в основном концом XIX – началом XX века.

женщина, совершенно случайно проходила мимо, заметила на полу пленку и хлопья «Атласной Дюра-люкс» и разыскала по телефону меня. Она спросила, что можно сделать для восстановления картины, и не виноват ли музей случайно в ее разрушении. Непонятно, где она находилась весь предыдущий год, пока мои картины повсеместно рассыпались в труху. Она всерьез допускала, что Гуггенхайм просто не обеспечил правильный режим влажности, или еще чего-нибудь. Я к тому времени жил диким зверем в амбаре для картошки, один, без друзей и любимых. Но зато с телефоном.

— И вот что странно, — продолжала она, — на холсте выступило какое-то огромное лицо.

То есть, разумеется, карикатура, нарисованная грязными большими пальцами.

— Свяжитесь с Римским Папой, — предложил я.

— С Папой?

— Ну да, — сказал я. — Может быть, у вас на руках следующая Туринская плащаница.

Поясняю для моих юных читателей: Туринская плащаница — это льняная простыня, в которую когда-то был завернут умерший человек, и на которой можно различить очертания тела взрослого мужчины, снятого с креста. Лучшие ученые наших дней сходятся на том, что ей может быть около двух тысяч лет. Широко распространено убеждение, что запеленат в нее был никто иной, как Иисус Христос. Она хранится в сокровищнице собора святого Иоанна Крестителя в итальянском городе Турине.

Моя попытка пошутить с дамой из Гуггенхайма основывалась на том, что на холсте, возможно, проступило лицо Христа — как раз чтобы успеть, например, предотвратить Третью Мировую.

Но она меня переплюнула. Она сказала:

— Я, конечно же, немедленно позвонила бы Папе. Но тут есть одна тонкость.

— А именно? — спросил я.

Она ответила:

— Так вышло, что я какое-то время жила с Полом Шлезингером.

Я сделал им точно такое же предложение, как и всем остальным: воссоздать картину в точности, но используя при этом более стойкие материалы — краску и пленку, *действительно* способные пережить улыбку Джоконды.

Как и все остальные, Гуттенхайм от моего предложения отказался. Никому не хотелось портить уморительную сноску в истории живописи, в которую я превратился. Если повезет, то я в конце концов попаду и в словарь:

«КАРАБЕКЯ'Н, -а, м. (от фамилии Рабо Карабеяна, амер. художника XX в.). Крах репутации и уничтожение результатов работы кого-л. вследствие собственной глупости или неосмотрительности. *Полный к.*».

КОГДА Я ОТКАЗАЛСЯ НАРИСОВАТЬ МАДАМ БЕРМАН картинку, она воскликнула:

— До чего же *упрямый* мальчишка!

— Упрямый *старичок*, — поправил я, — который из последних сил цепляется за честь и достоинство.

— Хотя бы скажи, из какой области то, что в амбаре, — подкатила она снова, — животное, растение или неживая природа?

— И то, и другое, и третье.

— А какого размера?

Я сказал чистую правду:

— Восемь футов высотой и шестьдесят четыре в длину.

— Опять обманываешь, — заключила она.

— Ну, разумеется, — сказал я.

Там, в амбаре, находились восемь секций натянутого загрунтованного холста, помещенные встык, каждая размером восемь на восемь футов. Как я и сказал ей, они таким образом составляли сплошную поверхность длиной в шестьдесят четыре фута. С обратной стороны я сбил их вместе и подпер брусом. Вышло что-то вроде изгороди, установленной вдоль центральной оси амбара. Эти же самые секции некогда сбросили с себя краску и пленку, став из самого великого самым жалким моим творением. Они побывали картиной, украсившей, а впоследствии запятнавшей вестибюль штаб-квартиры компании GEFFCo на Парк-авеню: «Виндзорская голубая №17».

* * *

Вот как вышло, что они вернулись ко мне, за три месяца до смерти Эдит.

Их обнаружили замурованными в наглухо запертом помещении на самом нижнем из трех подвальных этажей небоскреба Мацумото, бывшего прежде небоскребом GEFFCo. Приставшие к холстам там и сям ошметки «Атласной Дюра-люкс» позволили их опознать пожарному инспектору страхового отдела «Мацумото», исследовавшему глубины недр на предмет опасности самовозгорания. Путь инспектору преградила стальная дверь, и никто понятия не имел, что там за ней.

Было получено разрешение дверь взломать. Инспектор был женщиной, причем, как она сообщила мне по телефону, не только первым инспектором женского пола, нанятым компанией, но также и первым инспектором с черным цветом кожи.

— Поймали двух зайцев, — сказала она и засмеялась.

Она очень мило смеялась. В ее смехе не было ни злобы, ни издевательства. Она заручилась небрежным одобрением «Мацумото» вернуть мне по прошествии стольких лет мои холсты исключительно потому, что ей не хотелось, чтобы они оказались на помойке.

— Никому, кроме меня, нет дела, что с ними станет дальше, — сказала она, — так что теперь *вы* мне скажите, что делать. Только забирать их вам придется самостоятельно.

— Как же вы поняли, на *что* вы наткнулись? — спросил я.

Она училась на медсестру в Скидмор-колледже, объяснила она, и в качестве одного из немногих предметов по выбору⁹⁴ посещала семинар любителей живописи. Она получила диплом, как и Дороти, моя первая жена, но вскоре бросила работу, потому что врачи, по ее словам, обращались с ней так, как обращаются с тупыми рабами. Рабо-

⁹⁴ Обучение в американских университетах подразумевает завершение набора курсов, из которых какая-то часть является обязательной для выбранной специальности, а остальные в некоторой степени предоставляются на усмотрение студента.

тать ей приходилось много, платили мало, а дома ее ждала племянница, сирота, нуждавшаяся в еде и заботе.

Преподаватель на семинаре показывал им слайды знаменитых картин. На двух из них была «Виндзорская голубая №17» — до и после самоуничтожения.

— Я ему сердечно благодарен, — сказал я.

— Мне кажется, он просто старался нас немного развлечь, — сказала она. — Весь остальной материал был невозможно *серьезный*.

* * *

— Так нужны вам эти холсты или нет? — спросила она.

Я долго молчал, и она наконец сказала:

— Алло? Алло?

— Да, простите, — отозвался я. — Вы мне задали, казалось бы, простой вопрос, но для меня-то он вовсе не прост. Для меня это как если бы вы позвонили мне ни с того ни с сего, в самый обычный день, и спросили меня, взрослый ли я уже или нет.

Если в таких безобидных вещах, как секции натянутого холста, мне чудились страшилища, если они будили во мне чувство — да, стыда, но и ярости по отношению к этому миру, заманившего меня в ловушку, где из меня сделали неудачника, посмешище и так далее, что ж, значит, я еще не стал взрослым, хотя и дожил до шестидесяти восьми лет.

— И какой будет ответ? — сказала она в трубку.

— Подождите, я вот-вот его услышу, — ответил я.

Эти холсты ни для чего не были мне нужны — по крайней мере, я так считал. Я всерьез полагал, что никогда в жизни больше не возьму в руки кисть. С другой стороны, с их хранением никаких трудностей не возникнет, места в амбаре достаточно. Могу ли я спокойно спать, если мое позорное прошлое находится от меня в двух шагах? Кажется, да.

Я услышал, как мой голос ответил ей:

— Прошу вас, не выбрасывайте холсты. Я позвоню на склад «Мой милый дом», они заедут, как только смогут. Напомните мне, как вас зовут, чтобы им знать, к кому обратиться.

И она сказала:

— Мона Лиза Трипингэм.

* * *

Установка «Виндзорской голубой №17» в вестибюле позволила GEFFCо раструбить, что эта компания, несмотря на почтенный возраст, держит руку на пульсе последних достижений в области не только технологии, но и искусства. Пресс-секретарь⁹⁵ надеялся, что появится возможность также превознести размер картины — если не самой большой в мире, то уж по крайней мере самой большой в Нью-Йорке, что-то вроде того. Однако оказалось, что прямо здесь, в черте города, уж не говоря обо всем мире, имеется несколько фресок, превосходящих по площади 512 квадратных футов моего творения.

Тогда он решил заявить, что картина эта является рекордсменом среди произведений искусства, которые можно *повесить* на стену — умолчав, что на самом деле на стену повесили 8 отдельных секций, скрепленных зажимами. Но и это у него не вышло, потому что в городском краеведческом музее нашлись три *сплошных* полотна — хотя и сшитых из отдельных кусков — не уступающих моему по высоте и на целую треть длиннее! Странные это были полотна — в каком-то смысле первые попытки создать кинофильм. На каждом конце находилось по валику. Холст можно было сматывать с одного из них и наматывать на другой. В каждый момент зрителям была открыта только узкая полоска. Эти свитки из Бробдингнега были украшены изображениями заснеженных гор, широких рек и девственных лесов, бескрайних пастбищ, на которых пас-

⁹⁵ Должность, которую сам Воннегут занимал в течение трех лет, после неудачи в аспирантуре, в корпорации General Electric — обычно сокращаемой GE.

лись стада бизонов, и пустынь, где достаточно нагнуться — и в руках у тебя окажутся бриллианты, рубины, золотые самородки. Так выглядели Соединенные Штаты Америки.

Бродячие проповедники колесили с подобными картинами в прежние времена по всей северной Европе. Пока их помощники разматывали холст с одного конца и сматывали с другого, они призывали работоспособное и работающее население разделаться со старушкой Европой и застолбить за собой тучные, чудные владения в Земле Обетованной — владения, раздаваемые почти задаром.

Негоже настоящему мужчине сидеть дома, когда вместо этого он мог бы насиловать девственный материк.

* * *

По моему заказу восемь секций холста были очищены от следов осквернившей их «Атласной Дюра-люкс», перенатянуты и заново загрунтованы. Я поместил их, сияющие белизной возвращенной девственности, в амбар — вернул в состояние, предшествующее их превращению в «Виндзорскую голубую №17».

Жене я объяснил, что это чудачество — попытка изгнать демонов несчастливого прошлого, символическое возмещение ущерба, нанесенного моей краткой карьерой художника мне самому и другим людям. На самом же деле это была попытка облечь в слова то, что в слова не облакается: как и откуда возникает картина.

Длинный, узкий столетний амбар являлся необходимой ее частью, как и белая-белая белизна.

Как и мощные прожекторы в утопленных в крышу полозьях, заливавшие белоснежные площади мегаваттами энергии. Из-за них холсты казались мне еще белее, чем то, на что вообще способен белый цвет. Эти искусственные солнца я велел установить, когда получил заказ на «Виндзорскую голубую №17».

— Что ты теперь собираешься делать? — спросила милая Эдит.

— Я закончил картину, — ответил я.

— Тогда подпиши ее.

— Если я подпишу ее, она испортится. Если муха сядет на нее, она испортится.

— А название у нее есть?

— Да, — ответил я, и тут же на ходу выдумал название, пространное, как у книги Шлезингера об успешных революциях:

«Я попытался, опозорился и прибрал за собой, так что теперь *ваша* очередь».

* * *

Я заботился тогда о собственной смерти — и о том, что станут говорить обо мне, когда я умру. Тогда-то я и решил впервые запереть амбар, впрочем, всего на один засов и один замок. Я полагал, как когда-то и мой отец, и вообще большинство мужчин, что из нашей пары я умру первым. Поэтому я оставил Эдит затейливо-жалостливые инструкции, что надо будет сделать сразу после моих похорон.

— Эдит, устрой поминки в амбаре, — сказал я ей, — и когда тебя станут спрашивать про белую-белую белизну, расскажи всем, что это последняя картина, созданная твоим мужем, хотя он ее и не писал. А потом объясни, как она называется.

* * *

Но первой умерла она, всего через два месяца. Ее сердце остановилось, и она опрокинулась лицом в клумбу.

— Никакой боли, — сказал врач.

И во время ее похорон на кладбище «Зеленый ручей», в двух шагах от могил двоих из трех мушкетеров, Джексона Поллока и Терри Китчена, я воочию наблюдал человеческие души, не обремененные более телами, не страдающие от неловкости за свое непослушное мясо. Прямоугольная дыра в земле, и вокруг нее — чистые, невинные светящиеся трубки.

Думаете, я двинулся умом? Да еще как.

Поминки справляли в доме ее, а не моих друзей, в миле отсюда по берегу. Муж на них не присутствовал!

И в свой дом он тоже не вернулся — в то место, где бесцельно, беспечно, окруженный незаслуженной и неизменной любовью прожил треть своей жизни и четверть двадцатого столетия.

Вместо этого он пошел к амбару, отпер раздвижные двери и зажег свет. Потом постоял, оглядывая открывшуюся белизну.

А потом залез в свой «Мерседес» и отправился в хозяйственный магазин в Ист-Хэмптоне, который торговал также и художественными принадлежностями. Там я приобрел все необходимое для художника — за исключением той составляющей, которую мне придется предоставить самостоятельно: душу, отсутствующую душу.

Кассир был не местный, и потому ничего обо мне не знал. Перед ним нарисовался старик в белой рубашке, при галстуке, в костюме, пошитом на заказ Изей Финкельштейном, и с повязкой через глаз. Циклоп этот находился в состоянии крайнего возбуждения.

— Вы, наверное, художник? — спросил кассир.

Ему было лет двадцать, не больше. Он еще не успел родиться, когда я перестал быть художником, перестал рисовать что бы то ни было.

Перед уходом я сказал ему только одно слово. Вот какое:

«Возрождение».

* * *

Прислуга взяла расчет. Я вернулся в обличье старого дикого енота, вся жизнь которого проходит в амбаре для картошки. Раздвижные двери я держал закрытыми, чтобы никто не увидел, чем я там занимаюсь. А занимался я полных шесть месяцев!

Когда я закончил, я купил еще пять засовов и замков, навесил их на двери и запер накрепко. Я нанял новую прислугу и велел адвокату подготовить новое завещание, в котором, как я уже упоминал, требовал похоронить себя в костюме работы Изи Финкельштейна, а кроме того отказывал все имущество своим двум сыновьям, при условии,

что они совершат определенные действия в память о своих армянских предках, и предписывал вскрыть амбар только после моих похорон.

Мои сыновья неплохо устроились, несмотря на ужасное детство. Как я уже упоминал, они теперь носят фамилию своего приемного отца. Анри Стил — инспектор по договорам с гражданскими предприятиями в Министерстве Обороны. Терри Стил — пресс-секретарь команды «Медведи» из Чикаго. Учитывая, что я владею долей в «Бенгальских тиграх» из Цинциннати, мы — в каком-то смысле футбольная семья.

* * *

И только проделав все это, я почувствовал, что могу снова поселиться в доме, нанять прислугу, стать пустым, вялым старичком, в которого четыре месяца назад на пляже Цирцея Берман направила реплику «Расскажи мне, как умерли твои родители».

А вот что она говорит мне в последнюю ночь, проведенную в Хэмптонах:

— Животное, растение и неживая природа? И то, и другое, и третье?

— Честное слово. И то, и другое, и третье.

Пигменты и связующие вещества для красок бывают и животного, и растительного, и минерального происхождения, так что любая картина состоит из того, другого и третьего.

— Почему ты не даешь мне посмотреть?

— Потому что это — мой самый последний вклад в этот мир, — ответил я. — Я не хочу присутствовать при том, как люди станут его оценивать.

— Значит, ты просто трус, — сказала она. — И вот таким я тебя и запомню.

Я немного подумал, а потом услышал, как мой голос говорит ей:

— Ладно, я пошел за ключами. А потом, мадам Берман, я буду вам признателен, если вы составите мне компанию.

Мы выступили во тьму, ведомые прыгающим лучом фонарика. Она — притихшая, робкая, потрясенная, целомудренная. Я — ликующий, на взводе и охваченный паническим ужасом.

Сперва мы шли по выложенной камнем дорожке, но потом она свернула к конюшне, и под ногами у нас оказалась полоска стерни, которую проложил сквозь заросли своей газонокосилкой Франклин Кули.

Я отомкнул двери и просунул руку внутрь. Мои пальцы нащупали выключатель.

— Страшно? — спросил я.

— Да.

— Мне тоже.

Напоминаю: мы находились у правого края полотна восемь футов в высоту и шестьдесят четыре в длину. Как только я включу прожекторы, нам откроется картина, сжатая перспективой почти в треугольник — в высоту-то полных восемь футов, но в длину всего пять. С этой точки невозможно понять, что это за картина — вернее, о чем она.

Я щелкнул выключателем.

На мгновение воцарилась тишина, а потом мадам Берман вскрикнула от изумления.

— Не двигайтесь с места, — предупредил я. — Я хочу услышать ваше мнение.

— Можно мне подойти поближе?

— Да, сейчас. Но сначала скажите мне, что вам видно отсюда.

— Длинная изгородь

— Так.

— Очень длинная изгородь. Невероятно высокая и длинная изгородь, плотно усыпанная прекраснейшими драгоценными камнями.

— Благодарю вас, — сказал я. — Теперь, пожалуйста, возьмите меня за руку и закройте глаза. Я провожу вас к середине, и там вы снова их откроете.

Она закрыла глаза и позволила мне вести себя, не сопротивляясь, как воздушный шарик на нитке.

Когда мы дошли до середины, и с каждой стороны от нас простиралось по тридцать два фута живописи, я велел ей снова открыть глаза.

Мы стояли на краю ложбины. Была весна, и под нами простиралась прекрасная зеленая долина. С нами на краю и внизу в долине находилось в точности пять тысяч двести девятнадцать человек. Самый большой из них был размером с сигарету, самый маленький — с маковое зерно. Там и сям виднелись сельские постройки, а неподалеку от нас высились развалины средневековой сторожевой башни. Картина была выписана с фотографической точностью.

— Где мы? — спросила Цирцея Берман.

— Мы там, — ответил я, — где находился я на рассвете того дня, когда в Европе закончилась Вторая Мировая война.

ТЕПЕРЬ-ТО ЭТО ВСЕ ВХОДИТ в программу экскурсии по моему музею. Первым делом обреченные девочки на качелях в прихожей, потом ранние работы первых абстрактных экспрессионистов, а потом — без промаха поражающая штукавина в амбаре для картошки. Я вынул штыри в дальнем конце амбара, державшие закрытыми вторую пару дверей, чтобы изрядно погустевший поток посетителей двигался вдоль штукавины, не создавая водоворотов и завихрений. Вошли с одного конца, вышли с другого. Многие проходят не один раз, а два, а то и больше — не через всю экспозицию, конечно, а только через амбар.

Вот так!

Исполненные достоинства критики пока не появлялись. Впрочем, несколько посетителей-непрофессионалов уже попросили меня определить, к какому жанру я отношу свою картину. Я отвечал им теми же словами, которыми встречу первого зашедшего ко мне критика, когда он наконец зайдет — если они вообще ко мне собираются, ведь штукавина пользуется слишком уж большой популярностью в массах:

— А это вообще не картина! Это аттракцион! Ярмарка! Диснейленд!

* * *

Жутковатый Диснейленд. В нем нет милых персонажей. На каждый квадратный фут картины приходится в среднем по десятку тщательно прописанных фигур: люди, пережившие Вторую Мировую. Даже в тех из них — раз-

мером с маковое зерно — которые находятся вдали от зрителя, можно при помощи увеличительного стекла, запас которых я держу теперь в амбаре, разглядеть узников концлагерей, или же рабов, угнанных в Германию, или военнопленных из той или иной страны, или немецких солдат из того или иного подразделения и рода войск, или местных крестьян с семьями, или безумцев, выпущенных из сумасшедшего дома, и так далее, и так далее.

К каждой фигуре на картине, вне зависимости от размера, прилагается военная биография. Я выдумывал историю, а потом вырисовывал человека, с которым она случилась. Сперва я сидел в амбаре, готовый рассказать любому желающему биографию вот этого или вон того человека, но очень скоро выдохся и сдался. Теперь я говорю: «Смотрите на штуковину и выдумывайте свои собственные истории», а сам сижу дома и только указываю пальцем дорогу к амбару.

* * *

Однако в ту ночь, проведенную с Цирцеей Берман, я с радостью делился с ней историями, стоило ей попросить.

— А ты здесь есть? — спросила она.

Я указал ей на себя, внизу картины, практически на полу. Указал я носком ботинка. Моя фигура была крупнее всех — та самая, размером с сигарету. Я также был единственным из тысяч участников сцены, повернувшимся, так сказать, спиной к фотоаппарату. Щель между четвертой и пятой секцией проходила по моему хребту и уходила вверх через пробор на моей голове. Ее можно было принять за душу Рабо Карабекяна.

— Вот этот, уцепившийся за твою ногу, смотрит на тебя, словно ты — бог, — сказала она.

— У него смертельное воспаление легких. Через два часа он будет мертв. Это канадец с бомбардировщика, сбитого над нефтяным месторождением в Венгрии. Он меня не знает. Он меня даже не видит. Все, что он видит — это густой туман, которого в действительности не существует.

вует, и он все время спрашивает меня, добрались ли мы до дома.

— И что ты ему отвечаешь?

— А что ему можно ответить? Я говорю: «Да! Мы добрались! Мы дома!».

— Кто это, в такой странной одежде?

— Этот служил охранником в концлагере. Он выбросил свой эсесовский мундир и влез в костюм, снятый с пугала, — объяснил я. Потом я показал на небольшую группу лагерных узников, довольно далеко от вырядившегося охранника. Некоторые из них лежали на земле. Они были при смерти, как и тот канадец. — Он вот их привел сюда, в долину, и бросил. Он не знает, что ему делать дальше. Любой, кто его арестует, сразу поймет, что он эсесовец — у него на руке татуировка с личным номером.

— А эти двое?

— Югославские партизаны.

— Этот?

— Старшина из полка марокканских спаги, взят в плен в северной Африке.

— Вот этот, с трубкой в зубах?

— Шотландец, планерист, захвачен при высадке в Нормандии.

— Да они собраны со всего света!

— Вот гуркха, прибыл прямо из Непала. А этот взвод пулеметчиков в немецких мундирах — на самом деле украинцы, перешедшие на сторону противника, когда началась война. Как только до этой долины доберутся русские, они их повесят. Или расстреляют.

— Вот только женщин не видно, — сказала она.

— Присмотритесь повнимательней, — ответил я. — Половина узников концлагерей, как и половина безумцев из сумасшедших домов — женщины. Дело в том, что они перестали быть похожими на женщин. Кинематографическими красавицами их точно не назовешь.

— Не видно здоровых женщин, — поправилась она.

— И снова ошибка. С обоих концов картины есть и здоровые — в каждом из нижних углов.

Мы пошли посмотреть к самому правому краю.

— Боже мой, — сказала она. — Как на витрине в краеведческом музее.

Верно замечено. В нижних углах находилось по крестьянской усадьбе, укрепленной наподобие маленького форта, с запертыми высокими воротами и внутренним двором, куда согнали скотину и птицу. В земле под ними я выполнил схематический разрез, чтобы было видно также и погреб — как экспонат в музее, раскрывающий нам тайны подземных ходов в норе какого-нибудь зверя.

— Здоровые женщины сидят в погребе, вместе с картошкой, свеклой и репой, — сказал я. — Они пытаются как можно дальше отложить свое изнашивание. Они слышали рассказы о других войнах в этих местах и знают, что оно неизбежно.

— А название у этой картины есть? — спросила она, когда мы воссоединились в середине.

— А как же, — сказал я.

— Какое?

Я ответил:

— «Теперь настала очередь женщин».

* * *

— Мне мерещится, — сказала она, указывая на фигурку, притаившуюся в тени разрушенной башни, — или этот военный — японец?

— Именно так, — сказал я. — Пехотный майор. Видите, золотая звезда и две коричневые нашивки на обшлаге левого рукава. Он также при своем мече. Он скорее расстанется с жизнью, чем с мечом.

— Вот уж не думала, что там были и японцы.

— Их там не было, но я решил, что они там должны были быть, поэтому я одного из них туда поместил.

— Почему?

— Потому что японцы не меньше немцев виноваты в том, что мы превратились в сборище воинственных ублюдков — и это при том, что мы совершенно искренне ненавидели войну после Первой Мировой.

— А вот эта лежащая женщина уже умерла? — спросила она.

— Умерла. Она была цыганской королевой.

— Какая толстая. Она что, одна такая? Все остальные — кожа да кости.

— Единственный способ поправиться в Долине Счастья — это умереть, — сказал я. — Ее разнесло, как карнавального толстяка, потому что она мертва уже три дня.

— В Долине Счастья, — повторила она.

— Ну, «Мир на земле». Или «Райские кущи». «Сады Эдема». «Вечная весна». Называйте, как хотите, — сказал я.

— Еще она единственная, кто лежит в одиночестве. Или не так?

— Да, верно. Трупы через три дня начинают весьма неприятно пахнуть. Она была первой из паломников в Долину Счастья, она пришла сюда одна, и умерла почти немедленно после этого.

— А где все остальные цыгане?

— Шумную толпой, в ярко раскрашенных повозках, играющие на скрипках и звенящие в бубны? — отозвался я. — Крадущие все, что плохо лежит — что, кстати, было чистой правдой?

* * *

Мадам Берман рассказала мне о цыганах одну историю, которой я раньше не слышал.

— Они украли у римских солдат гвозди, которыми те собирались прибивать Иисуса к кресту, — сказала она. — Солдаты хватились гвоздей — а они исчезли, как не бывало. Их стянули цыгане. И Христос, и вся собравшаяся толпа — все стояли и ждали, пока солдатам пришлось посылать за новыми. Узнав об этом, всемогущий Господь выдал всем цыганам на свете разрешение воровать все, что им понравится.

Она указала на раздутую цыганскую королеву.

— Она в это верила. Все цыгане в это верят.

— Зря она в это верила. А может, это и неважно, во что она там верила. Когда она в одиночестве добралась до Долины Счастья, она почти умирала с голоду. Она попыталась украсть в усадьбе курицу. Хозяин заметил ее из окна спальни и выпалил в нее из малокалиберного ружья, которое держал под периной. Она убежала. Он решил, что промахнулся, но он не промахнулся. У нее в животе засела маленькая пулька. Она упала вот здесь и умерла. А через три дня прибыли все мы.

* * *

— Где же ее подданные, если она королева? — продолжала спрашивать Цирцея.

Я рассказал, что даже в зените своей власти она правила от силы четырьмя десятками человек, включая грудных младенцев. По всей Европе шли ожесточенные споры, какие именно народы и народности являлись грязным сбродом, но в одном европейцы сходились: эти ворожеи, эти воришки, сманивающие детей, эти цыгане — враги всего прогрессивного человечества.

Их истребляли повсюду. Королева и ее подданные избавились от своих повозок, от привычной одежды — избавились от всего, что выдавало в них цыган. Днем они прятались в лесах, а по ночам выходили раздобыть себе еды.

И вот однажды ночью, когда королева ушла в поисках пропитания, один из ее подданных, четырнадцатилетний мальчишка, попался на краже куска ветчины у расчета словацких минометчиков, сбежавших из немецких окопов на русском фронте. Они направлялись к себе домой. Их дом был как раз неподалеку от Долины Счастья. Они заставили мальчишку показать дорогу к стоянке цыган и убили всех, кто там находился. Когда королева вернулась, подданных у нее больше не было.

Вот такую историю я придумал для Цирцеи Берман.

* * *

Цирцея преподнесла мне недостающее звено в моем рассказе:

— И в Долину Счастья она пришла в поисках других цыганских семей.

— Точно! — сказал я. — Но во всей Европе цыган почти не осталось. Большинство из них уже согнали в газовые камеры, к всеобщему удовольствию. Так им и надо, воришкам.

Она присмотрелась к мертвой женщине внимательнее и отшатнулась.

— Фу! Что это у нее во рту? Кровь и черви?

— Рубины и бриллианты, — ответил я. — Но от нее так отвратительно пахнет, и вообще вся она такая отвратительная, что никто еще не подходил к ней достаточно близко, чтобы это заметить.

— И из всех этих людей, — зачарованно спросила она, — кто же будет первым?

Я указал на бывшего лагерного охранника в тряпье, снятом с пугала.

— Он, — сказал я.

— Солдаты, везде солдаты, — продолжала удивляться она. — Мундиры, везде мундиры.

Мундиры — то, что от них осталось — у меня были самыми что ни на есть подлинными. Так я воздавал дань своему мастеру, Дэну Грегори.

— Отцы всегда так гордятся сыновьями, увидев их в военной форме, — сказала она.

— Да, как Большой Джон Карпински.

Это, разумеется, мой сосед к северу. Маленький Джон, сын Большого Джона, плохо учился в старших классах, и к тому же попался на продаже травки. Вот он и записался в армию, а в то время шла война во Вьетнаме. Когда он впервые явился домой в форме, счастью Большого Джона не было предела — ему казалось, что Маленький Джон встал наконец на верный путь, и обязательно теперь чего-нибудь добьется в жизни.

А Маленький Джон вернулся в цинковом гробу.

* * *

Кстати, Большой Джон и его жена Дорина собираются нарезать свою ферму на участки по шесть акров. Об этом написали вчера в местной газетке. От желающих купить эти участки не будет отбоя, потому что с верхних этажей большинства домов, выстроенных там, поверх моей собственности будет открываться вид на океан.

Большой Джон и Дорина выручат несколько миллионов наличными и переселятся в кооператив во Флориде, где никогда не бывает зимы. При этом они утратят свой

собственный клочок священной земли у подножия своего собственного Арарата — избежав, впрочем, последнего акта унижения: бойни.

— А *твой* отец гордился тобой, когда впервые увидел тебя в форме? — спросила меня Цирцея.

— Он не дожил до этого дня, — ответил я, — и хорошо, что не дожил. Иначе он швырнул бы в меня шилом, или башмаком.

— Почему?

— Не забывайте, что именно юные солдаты — родители которых думали, что их сыновья наконец-то чего-нибудь добьются в жизни — и вырезали всех, кого он знал и любил. Так что если бы он увидел меня в военной форме, то зарычал бы, оскалив зубы, как бешеная собака. «Скотина!», сказал бы он мне. «Свинья!», сказал бы он. «Убийца! Вон отсюда!», сказал бы он.

* * *

— Как ты думаешь, что станет в конце концов с этой картиной? — спросила она.

— Выкинуть ее сложно — слишком большая, — сказал я. — Может быть, ее отдадут в тот частный музей в Техасе, в городе Лаббок, где хранятся почти все произведения Дэна Грегори. Еще я думал, что ей нашлось бы место за самой длинной в мире барной стойкой. Не знаю, где она находится — тоже, наверное, в Техасе⁹⁶. Вот только посетители станут постоянно карабкаться через эту стойку, чтобы получше разглядеть, что там происходит. Опрокидывать кружки, топтать бесплатные закуски.

Потом я сказал ей, что в конце концов судьба «Очереди женщин» будет зависеть от моих сыновей, Терри и Анри.

— Ты оставишь ее *им*?! — сказала она.

⁹⁶ Присказка «В Техасе все больше обычного» какое-то время служила официальным девизом бюро туризма в этом штате.

Ей было известно, что они меня ненавидели, и что они судебным решением взяли себе фамилию второго мужа Дороти — своего единственного *настоящего* отца.

— Ты что, думаешь, это такая *шутка* — оставить им эту картину? — продолжала она. — Или ты не считаешь ее ценной? Ну, так слушай, что я тебе скажу: это *невероятно* важная картина. В каком-то смысле.

— Полагаю, что в том же смысле, в каком можно назвать невероятно важным лобовое столкновение. Эффект несомненный. Событие, черт возьми, тут не поспоришь.

— Если ты завещаешь ее этим неблагодарным личностям, они станут миллионерами!

— О, это им обеспечено в любом случае, — сказал я. — Я ведь отказываю им все, чем владею, включая и девочек на качелях, и бильярдный стол, если вы, конечно, не потребуете их вам вернуть. После моей смерти моим сыновьям останется выполнить только одно пустяковое условие, и все это перейдет к ним.

— Какое же?

— Всего лишь изменить фамилию, свою и своих детей, обратно на «Карабекян».

— Вот как это для тебя, оказывается, важно.

— Только в память о моей матери. Она даже не была урожденная Карабекян, но именно ей хотелось, чтобы род Карабекянов продолжался, независимо от обстоятельств, и неважно, где и как.

* * *

— А кто из них всех существовал на самом деле? — спросила она.

— Канадец, ухватившийся за мою ногу. Его лицо я написал по памяти. Вот эти два эстонца в немецкой форме — Лорел и Харди⁹⁷. Этот французский коллаборационист

⁹⁷ Артур Стэнли Джефферсон и Норвелл Харди — дуэт актеров («тонкий и толстый»), работавших в жанре физической комедии, начиная еще с немного периода в кинематографе. Роман Воннегута *Slapstick* (в русском переводе — «Балаган», хотя слово как раз и означает этот комедийный

— Чарли Чаплин⁹⁸. Два угнанных в рабство поляка с противоположной от меня стороны башни — Джексон Поллок и Терри Китчен.

— Так вот они, у нижней кромки — три мушкетера.

— Да, вот и мы.

— Когда остальные двое погибли, так вскорости друг после друга, это был для тебя, наверное, страшный удар.

— Мы к тому моменту уже давно не были друзьями, — сказал я. — Люди нас так называли исключительно из-за нашего совместного пьянства. К живописи это не имело никакого отношения. С таким же успехом мы могли бы быть водопроводчиками. Время от времени тот или иной из нас по отдельности, или даже все трое вместе, прекращали пить — и трем мушкетерам настаивал конец, задолго до того, как остальные двое покончили с собой. Вы говорите, «страшный удар», мадам Берман? Нисколечко. Когда я об этом услышал, я всего лишь стал отшельником, лет эдак на восемь.

* * *

— А потом покончил с собой Ротко, — сказала она.

— Ага, — отозвался я.

Мы понемногу извлекали себя из Долины Счастья и возвращались в действительность. Вот еще раз мрачная переключка того, как в действительности убивали себя абстрактные экспрессионисты: Горки, 1948 год, петля, потом Поллок и почти сразу же Китчен, 1956 год, вождение в пьяном виде и выстрел из пистолета, соответственно — и наконец Ротко, 1970 год, нож, развел невероятную грязь.

Я довольно резко, к ее и к своему собственному удивлению, высказал ей, что это разнообразие насильственных

жанр) обязан им не только своим названием, но и общим ощущением «гротескной поэзии положений», и содержит посвящение паре как «двоим из ангелов наших дней».

⁹⁸ В ответ на реплику интервьюера «Вы, кажется, предпочитаете Лорела и Харди Чаплину» Воннегут ответил: «Я без ума от Чаплина, но между ним и зрителями слишком большое расстояние. Он слишком явно гениален. В своей области он так же велик, как Пикассо, и это меня смущает».

смертей тоже было сродни нашему пьянству, и к нашим картинам никакого отношения не имело.

— Так я же и не спорю, — сказала она.

— Да ну! — сказал я. — В самом деле! — сказал я. Мой запал еще не кончился. — Вся волшебная сущность наших картин, мадам Берман, при том, что в музыке это было всем давным-давно известно, а вот в живописи появилось только что, состояла в концентрате человеческого изумления нашим миром, изумления, полностью отделенного от еды и секса, от тряпок и квартир, наркотиков и автомобилей, газет и денег, преступления и наказания, войны и мира — и уж точно отделенного от всеобъемлющей склонности, присущей как живописцам, так и водопроводчикам, к необъяснимому отчаянию и последующему самоуничтожению!

* * *

— Знаешь, сколько было мне, когда ты стоял на обрыве над этой долиной? — спросила она.

— Нет.

— Всего год. Я не хочу тебя обидеть, Рабо, но эта картина настолько густая, что сегодня ночью я, похоже, больше уже не могу на нее смотреть.

— Я понял, — сказал я.

Мы находились в амбаре уже два часа. Я и сам был совершенно измотан, но в то же время весь звенел от гордости и удовлетворения.

* * *

И вот мы снова стоим в дверях, и я держу руку на выключателе. В ту ночь не было видно ни звезд, ни луны, так что щелчок выключателя погрузит нас в полную темноту.

Вот что она спрашивает у меня:

— А где-нибудь на этой картине что-нибудь указывает на то, где и когда все это происходит?

— Где происходит — нет, — ответил я. — В одном месте указано, когда, но это в противоположном конце и в

самом-самом верху. Чтобы вам это показать, мне придется достать стремянку и увеличительное стекло.

— В другой раз, — сказала она.

Тогда я описал ей словами.

— Там сидит один маори, артиллерист, капрал вооруженных сил Новой Зеландии, взятый в плен в Ливии, в битве за Тобрук⁹⁹. Вы наверняка знаете, кто такие маори.

— Полинезийцы. Новозеландские аборигены.

— Именно! До прихода белого человека они были каннибалами и делились на множество племен, воевавших между собой. Так вот, этот полинезиец сидит на ящике из-под немецких боеприпасов, на дне которого остались три неиспользованных патрона — вдруг они кому-то пригодятся. Он пытается читать вкладку в газету. Он ухватил эту вкладку, когда поднявшийся с восходом ветерок гнал ее через долину.

Не снимая пальцев с выключателя, я продолжал:

— Вкладка эта — из еженедельного антисемитского листка, выходившего в Риге, столице Латвии, во время оккупации этой небольшой страны немцами. На ней напечатаны шестимесячной давности советы по ведению огорода и рецепты домашних консервов. Маори честно пытается разобраться, что там написано, в надежде выяснить то, что всем нам хочется узнать о нашей судьбе: где он находится, что происходит, и что будет дальше. Так вот, мадам Берман, при наличии лестницы и увеличительного стекла вы смогли бы различить, что на ящике крохотными буквами выписана дата — день, когда вам был всего год от роду: «8 мая 1945 г.».

* * *

Я бросил прощальный взгляд на «Очередь женщин», снова сжатую перспективой в треугольник, усыпанный драгоценными камнями. Мне не нужно было дожидаться

⁹⁹ Этот персонаж тоже появлялся уже на страницах произведений Воннегута — как напарник Билли Пилигрима на расчистке завалов в сожженном Дрездене; впрочем, там он погибает, не дожив до конца войны. Такие дела.

прихода соседей, или одноклассников Целесты, чтобы предсказать, что она станет гвоздем моей коллекции.

— Боже мой, Цирцея, — сказал я, — ну и богатая же вышла картина!

— Еще какая, — подтвердила она.

И свет погас.

ПОКА МЫ ПРОГУЛИВАЛИСЬ обратно к дому сквозь тьму, она держала меня за руку. Потом она сказала, что я все-таки взял ее с собой танцевать.

— Это когда? — спросил я.

— Вот же мы танцуем, — сказала она.

— А, — сказал я.

Она повторила, что не понимает, как мне удалось создать такую большую и красивую картину на такую важную тему — вообще, как она могла появиться.

— Я и сам в это не очень верю, — ответил я. — Может, я тут ни при чем. Может, это все колорадские жуки сделали.

Она сказала, что стояла однажды в комнате Целесты, смотрела на книги Полли Мэдисон и тоже не верила, что это она их написала.

— Вы, наверное, просто плагиатор, — сказал я.

— Да, мне именно это и пришло в голову.

И хотя никогда в жизни мы с ней не оказывались и не окажемся в одной постели, на пороге дома мы чувствовали себя, будто отдыхаем после любовных игр. И позвольте мне заметить, рискуя показаться нескромным, что еще ни разу я не видел ее такой *умиротворенной*.

* * *

Она всем своим телом, обычно таким беспокойным, таким нервным и нервозным, отдалась подушкам роскошного кресла в библиотеке. В той же комнате присутствовала и Мэрили Кемп, в виде призрака. Переплетенные

письма, которые она писала мальчишке-армянину в Калифорнию, лежали на столике между мной и мадам Берман.

Я спросил мадам Берман, что бы она подумала, если бы в амбаре ничего не оказалось, или если бы восемь секций холста были пустыми, или если бы я воссоздал «Виндзорскую голубую №17».

— Ну, если бы ты был настолько пустышкой, как я, собственно, и предполагала, — ответила она, — пришлось бы тебе по крайней мере поставить пять с плюсом за честность.

* * *

Я спросил, станет ли она писать. Я имел в виду письма, но она подумала, что я спрашиваю про книги.

— А я больше ничего в жизни не делаю — только пишу и танцую, — сказала она. — Я все время кручусь и таким образом не позволяю себе грустить.

Она за все лето ни разу не позволила себе напомнить, что совсем недавно потеряла мужа — человека явно интеллигентного, с чувством юмора, и очень любимого.

— И у меня есть еще один способ держаться, — сказала она. — Мне он подходит. Тебе он вряд ли подойдет. Надо говорить громко и уверенно, указывать всем вокруг, кто в чем прав и неправ, раздавать приказания: «А ну, не спать! Больше жизни! За работу!».

— Я теперь дважды Лазарь, — сказал я. — Я умер вместе с Терри Китченом, и меня вернула к жизни Эдит. Я умер вместе с милой Эдит, и меня снова вернула к жизни Цирцея Берман.

— А это еще кто такая? — спросила она.

* * *

Потом мы вспомнили про Джеральда Хиддрета. Это мужчина, который в восемь утра собирался приехать за ней в своем такси и отвезти ее вместе с чемоданами в аэ-

ропорт. Один из местных чудаков, лет шестидесяти. Во всей округе знают Джеральда Хилдрета и его такси.

— Он работал в добровольной службе спасения, — сказал я. — И еще мне кажется, у него с моей первой женой что-то такое было. Это он нашел труп Поллока — в шестидесяти футах от дерева, в которое тот влетел на машине. А еще через несколько недель он же собирал в пакет осколки черепа Китчена. Можно сказать, сыграл значительную роль в истории живописи.

— Когда он вез меня в прошлый раз, — сказала она, — он рассказал мне, что его семья уже три сотни лет вкалывает здесь, но все, чем он может похвастаться — это его такси.

— Но ведь хорошее же такси.

— Да, он его моет снаружи и пылесосит изнутри. Мне кажется, он *таким* образом не позволяет себе грустить. Хотя я и не знаю, о чем он грустит.

— О трех сотнях лет, — сказал я.

* * *

Помянули мы, немного озабоченно, и Пола Шлезингера. Я даже попытался представить, каково было его беспомощной душе в тот момент, когда до нее дошло, что его мясо решило накрыть собой гранату, готовую разорваться.

— Как вышло, что она его не убила на месте? — спросила она.

— Преступная халатность на оружейном заводе, — сказал я.

— Но вот его мясо совершило *такой* поступок, а *твое* мясо сотворило картину в амбаре.

— Похоже на правду. Душа понятия не имела, какую картину надо написать, а мясо ни секунды не сомневалось.

Она откашлялась.

— В таком случае, — объявила она, — не пора ли твоей душе, так долго стыдившейся твоего мяса, взять и поблагодарить мясо за то, что оно создало наконец что-то прекрасное?

Я подумал немного.

— И это похоже на правду, — признал я.

— Нет. Это надо в самом деле сделать.

— Как?

— Вытяни руку перед глазами, — велела она. — Теперь посмотри на эти пять загадочных разумных зверюшек с любовью и уважением, и громко скажи им: «Благодарю тебя, Мясо».

Я так и сделал.

Держа руку перед глазами, я сказал, громко и от души:

— Благодарю тебя, Мясо.

Радуйся, Мясо. Радуйся, Душа. Радуйся, Рабо Карабе-
кян.

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)-44
В73

На обложке использованы фотография
армии США и иллюстрация Гюстава Доре
к сказке Шарля Перро «Синяя Борода»

Воннегут, К.

В73 Синяя Борода: роман / Курт Воннегут. —
Zamok Publishers, Wayland, MA USA 2011. — 282 с.
ISBN 978-0-9765679-7-4

«Синяя Борода» стоит немного в стороне от привычной прозы Курта Воннегута: в книге нет ни фантастических, ни даже футуристических элементов, и человечество на этот раз не погибает в глобальной катастрофе. Мы знакомимся с историей жизни пожилого американца армянского происхождения, случайно разделившего с автором как некоторые подробности опыта Второй Мировой войны, так и некоторые детали воззрений на современную живопись и искусство в целом.

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)-44

Перевод с английского Ю. Мачкасова

Подписано в печать 18.01.2011. Формат 84x108 1/32
A7sharp9, an imprint of Zamok Publishers
PO Box 5091, Wayland, MA 01778 USA
bluebeard@a7sharp9.com

Отпечатано с макета издательства в типографии Gorham Printing,
3718 Mahoney Drive, Centralia, WA 98531.

ISBN 978-0-9765679-7-4



©1987 Kurt Vonnegut
©2010 Ю. Мачкасов – перевод, примечания
©2011 Zamok Publishers

